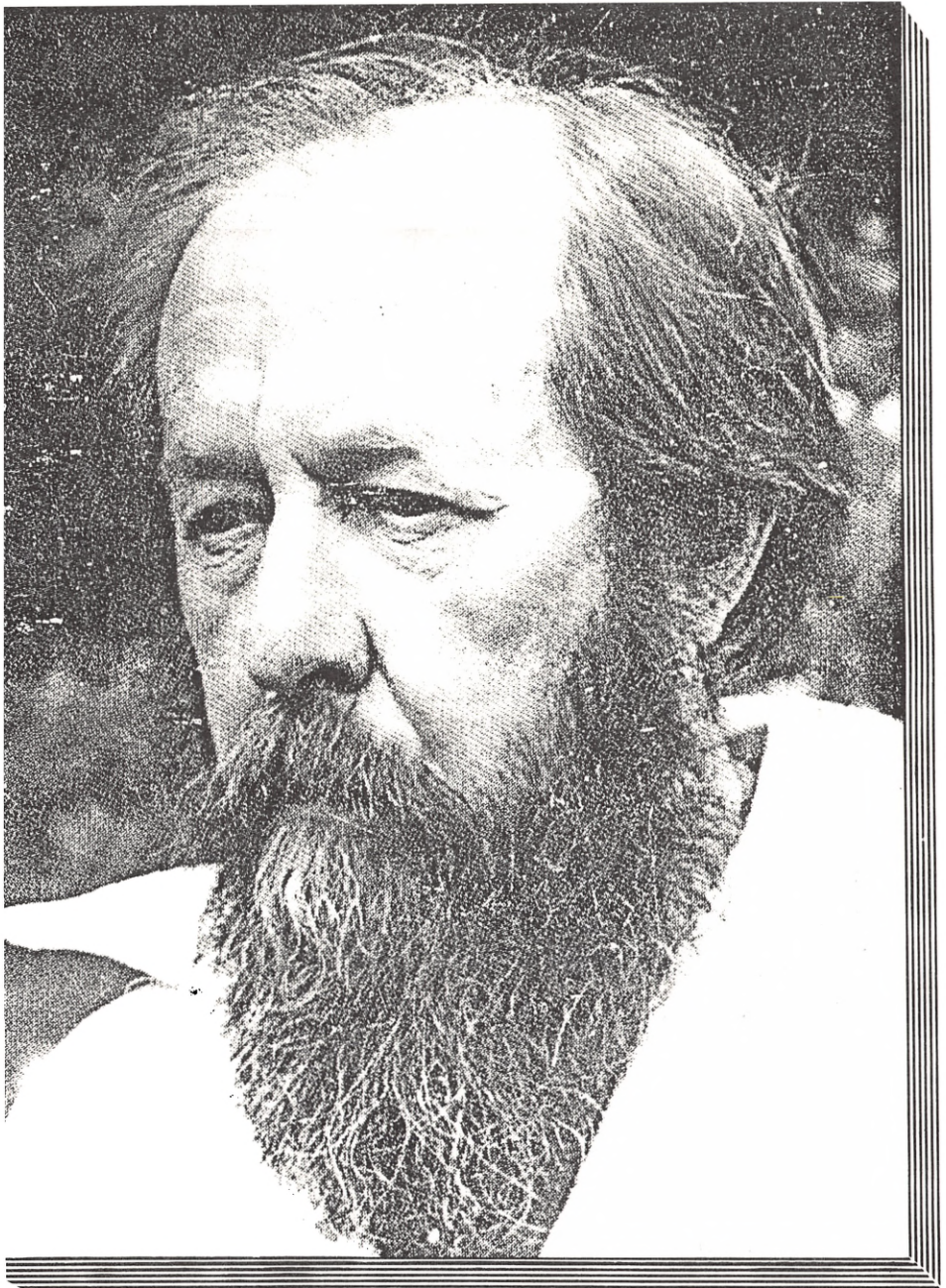


**МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
«А.И.СОЛЖЕНИЦЫН  
И ЕГО ТВОРЧЕСТВО»**



Редактор Александр Глезер  
Художник Виталий Длуги

**Издательство «Третья волна»  
Париж-Нью-Йорк  
C.A.S.E. Third Wave Publishing  
Paris-New York  
1988**

Copyright © 1988 by Committee for the Absorption of Soviet  
Emigres, Third Wave Publishing Project.  
All rights reserved

ISBN: 0-937951-07-2

**МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
«А.И.СОЛЖЕНИЦЫН  
И ЕГО ТВОРЧЕСТВО»**

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ РУССКИЙ ЦЕНТР  
«СТРЕЛЕЦ»**



## МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНУ

Четвертого декабря в Нью-Йорке, в одном из залов Хантер колледжа, открылся Литературный русский центр «Стрелец». Он открылся международной конференцией, посвященной жизни и творчеству Александра Исаевича Солженицына. В этой конференции приняли участие поэт Дмитрий Бобышев (Урбана, Иллинойс), профессор Джон Б. Данлоп из Страндфордского университета (Калифорния), преподаватель русской кафедры Бернского университета (Швейцария) Галина Бови-Кизилова, поэт, главный редактор журнала «Стрелец» Александр Глезер, театральные режиссер и драматург Борис Тираспольский (Нью-Йорк), профессор Огайского университета Валерий Сойфер. К сожалению, не смогли принять непосредственное участие в конференции писатель Василий Аксенов, поэты Юрий Кублановский и Лев Лосев, публицист Дора Штурман. Но текст выступления Аксенова, заранее присланный им организаторам конференции, был зачитан перед собравшимися, им же было зачитано приветствие, посланное конференции Юрием Кублановским, а текст его предполагаемого выступления, также как тексты выступлений Льва Лосева и Доры Штурман, был размножен и каждый желающий мог с ним ознакомиться.

Открывавший конференцию основатель Литературного русского центра «Стрелец» (аналогичный центр существует с февраля нынешнего года и в Париже) Александр Глезер предложил всем, кто этого захочет, подписать письмо, направляемое А.И. Солженицыну от участников конференции, зачитал текст письма и информировал слушателей, что копия этого письма будет направлена в Москву Вадиму Медведеву, новому секретарю ЦК КПСС по идеологии.

После выступлений участники конференции ответили на многочисленные вопросы собравшихся.

АЛЕКСАНДРУ ИСАЕВИЧУ СОЛЖЕНИЦЫНУ  
 ОТ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
 КОНФЕРЕНЦИИ  
 «А.И. СОЛЖЕНИЦЫН И ЕГО ТВОРЧЕСТВО»

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ!

*Участники международной конференции, посвященной Вашей жизни и Вашему творчеству, поздравляют Вас с семидесятилетием и желают Вам неиссякаемой духовной мощи, света и творческой воли на благо великой культуры русской и всех нас. Как не стоит ни село, ни город, ни вся земля наша без праведника, так немыслима преобразенная Россия без своей совести, без Писателя, без Вас.*

*Многая лета!*

*Дмитрий Бобышев, Урбана, Иллинойс  
 Галина Бови-Кизилова, Лозанна  
 Александр Глезер, Париж – Нью-Йорк  
 Джон Данлоп, Стэнфорд, Калифорния  
 Борис Тираспольский, Нью-Йорк  
 Юрий Кублановский, Мюнхен  
 Валерий Сойфер, Колумбус  
 Вероника Туркина (Джерси-Сити)  
 Юрий Штейн (Джерси-Сити)  
 и другие, всего 38 подписей*

## ПРИВЕТСТВИЕ СОЛЖЕНИЦЫНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Дорогие друзья!

Семидесятилетие Солженицына – дата, знаменательная не для одной русской культуры. Книги Солженицына открыли миру феномен тоталитаризма во всей его страшной сущности, трагичной для людей, под него подпавших... Самосознание современного мира непредставимо без солженицынского «Архипелага ГУЛаг». Но это не только полное разоблачение тоталитарного мира, базирующегося на марксистской идеологии и «системе ценностей», но и драматичный и пронзительный р е к в и е м миллионам «убитых задешево», погибших в шестеренках машины того социального режима, который впервые за две тысячи лет христианской цивилизации отказался от универсальной морали во имя материалистических фикций.

...Повести, романы, рассказы Солженицына – русская проза, стоящая вровень с отечественной классикой прошлого века.

А эпопея «Красное колесо», над которой Солженицын работает вот уже полстолетия – настоящий э п о с, аналитично рисующий падение России в революционную бездну. Эту книгу еще предстоит осмыслять – не только нам, но и будущим поколениям.

Наконец, публицистика Солженицына, его огненное слово, обращенное к своим соотечественникам, и слово предостережения, обращенное к Западу – во многом подготовили то, надеемся, плодотворное, размывание тоталитарной идеологии и костно бюрократического режима – которое мы наблюдаем ныне как в СССР так и у его сателлитов.

Желаю солженицынской конференции плодотворной работы.

Юрий Кублановский

## ВЫСТУПЛЕНИЕ ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА

В русской эмиграции немало говорят о так называемом «затворничестве Солженицына», очень популярная тема на вечеринках. Всякий раз, когда мне приходится слушать эти разговоры, я вспоминаю рассказ моей матери Евгении Гинзбург о ее встрече с Александром Исаевичем.

В середине шестидесятых годов ее книга «Крутой маршрут» широко циркулировала в Самиздате, по некоторым оценкам число самодельных копий достигло пяти тысяч. Солженицын к тому времени уже напечатал всю свою «новомирскую прозу». Он все еще считался как бы «новомирским автором», но в Самиздате уже начали циркулировать и «Раковый корпус», и «В круге первом», и все уже чувствовали, что собирается гроза, хотя никто тогда еще не мог предвидеть ее масштабов. Встреча двух писателей, вырвавшихся из ГУЛАГа, была вполне естественной и даже вроде бы нужной.

Не помню точно, когда и где она состоялась, потеряны, увы, и многие из рассказанных мамой деталей, но одна тема их разговора врезалась в память.

Он спросил: сколько вам лет? Вопрос для немолодой дамы не очень-то привлекательный, если за ним не предполагается комплимента. Complимента явно не предполагалось, и мама назвала свою цифру. Солженицын записал ее на листочке чистой бумаги. На осьмушке бумаги, как говаривали в старину. Далее он спросил: а как вы себя чувствуете? Вопрос звучал скорее, в медицинском, чем в светском ключе. Мама сказала «терпимо», что тогда вполне соответствовало действительности. Опрос продолжался. Сколько страниц в день вы пишете? Мама прикинула: что-то вроде шести, когда хорошо идет. Солженицын и эту цифру записал. Далее на глазах изумленной мамы началась калькуляция. Итак, в среднем вы можете писать столько-то страниц в день. Предположим, вы сможете работать активно еще столько-то лет. Каждый год – это столько-то рабочих дней. Помножим. Итак, вот число страниц, которых вы *должны* написать. Эту цифру вы *должны* всегда держать в уме. Это ваш *долг*, Евгения Семеновна, написать вот столько-то страниц о вашем жизненном пути и о Гулаге.

Мама рассказывала эту историю не без улыбки, вот, дескать, какой одержимый человек, однако нет никакого сомнения, что разговор с Солженицыным подтолкнул ее к дальнейшей работе, которая в конечном счете вылилась во второй том «Крутого маршрута».

Можно только себе представить насколько суров счет, который Солженицын предъявляет к самому себе, насколько неумолима его само-калькуляция. Секрет так называемого затворничества именно в этом. Писать, писать, отмывать обосравшуюся во лжи историю.

Лично для меня такой подход к писательскому долгу является недостижимым нравственным пределом с его высшей серьезностью, ощущением важности исторического пути и преодолением соблазна сочинительства.

В декабре нынешнего года Александру Исаевичу Солженицыну исполнилось 70 лет. В декабре 1962 года, когда он триумфально явился в русскую (и советскую) тех

лет) литературу, ему было сорок четыре. Окиньте взглядом пространство, пройденное за это время этим человеком — насколько оно больше одной жизни! Труд его и подвиги (очень просто в данном случае извлечь это слово из порочного круга словесной инфляции) отмечены поистине Геракловым масштабом, а из приключений последнего вспоминается, конечно, прежде всего, очистка Авгиевых конюшен, ибо именно к этому и направлены все труды Солженицына — к очищению. В своде народной мудрости есть одна лицемерная мерзость, призывающая «сор из избы не выносить», то есть смерди внутри избы, лишь бы соседи не подумали, что у нас какой-то сор завелся. Тоталитарные владыки этой идеей одержимы, причем даже с какой-то наивностью: неужели всерьез думают, что все останется шито-крыто? Простой и мощный призыв Солженицына «жить не по лжи» ошеломил хранителей сора, даже как бы подорвал основы их «верь». Этот призыв к выбросу вони прежде всего из собственных душ стал, пожалуй, основным религиозным и нравственным кредо нашего поколения россиян.

Помню, еще в Москве читали мы в эмигрантском журнале, скорее всего в «Континент», записки одного диссидента. Этот смелый человек рассказывал, что во время допросов в гэбэ он опирался на так называемую триаду Солженицына — «не верь, не бойся, не проси». Вновь поражает простота и мощь этой тройной задачи, вдруг видишь, что и одиночка может быть не так уж безоружен перед карательной машиной.

Войдя в разгаре «оттепели» в советскую литературу, Солженицын как бы предложил ей иной путь развития. Поначалу казалось, что она даже готова принять этот путь. Кандидатура автора «Одного дня из жизни Ивана Денисовича» была выдвинута на Ленинскую премию, в «Правде» появилась статья советского классика, объявляющая скромного учителя из Рязани советским Львом Толстым, хотя место «большой медведицы пера» давно уже было вроде бы занято Шолоховым. Очень скоро, одна-

ко, оказалось, что другого пути советская литература принять не может, просто потому что другого пути для нее не существует.

Вообразим фантастическое. Солженицын получает Ленинскую премию за «Один день». В советской литературе стало быть укреплается «лагерная тема». Последствия могли стать необратимыми для самой передовой цензурной системы в мире, именуемой методом социалистического реализма. Правдивый и страстный разговор о прошлом в конечном счете привел бы к выводу на чистую воду тех, кто с этим прошлым повязан грязными делами, кто и по сей день правит в Союзе писателей. Аппаратчикам вряд ли удалось бы адаптировать Солженицына, как это случилось с такими писателями, как Бондарев и Бакланов. Отвержение Солженицына было для советской литературы рефлекторным актом самозащиты.

Феномен Солженицына по сути дела убил литературу «оттепели» с ее почти стабильно уже отработанной системой намеков, аллюзий и кукишей в кармане. Намек становится неуместным вздором, когда бок о бок с тобой находится человек, говорящий на ту же тему в полный голос. В этой связи уместно провести параллель между Солженицыным и Евтушенко. Лидер нашей прозы и лидер поэзии оба занимали отчетливо выраженную гражданскую позицию. До появления Солженицына Евтушенко был кумиром мыслящей молодежи, непрерываемым вождем так называемого «четвертого поколения». Пойди Евтушенко вровень с Солженицыным, таким бы и остался. Увы, не смог, пропустил темп, остался в позе стареющего придворного шалуна, а фигурка превратилась в непристойное шевеление пальцами в кармане.

Жизнь показала, что проза острее чувствует мерзость полуправды, чем поэзия. Многие из бунтарей-поэтов шестидесятых годов стали благополучными конформистами, в то время как проза почти в полном составе, за исключением «деревенщиков», последовала по новому пути и взбунтовалась.

Благодаря Солженицыну и совершенно неожиданно для властей одним из поворотных пунктов в литературе «оттепели» оказался VII съезд Союза писателей СССР. Поначалу он проходил чинно-благородно в Большом Кремлевском дворце со всеми «этими делами», сидящими в президиуме, и с либеральными шепотками в кулуарах. Тот год почему-то выдался влажным, мягким. Меня тогда к полному моему удивлению вместе с Евтушенко, Вознесенским, Казаковым, Окуджавой выдвинули в Ревизионную комиссию. Мы стояли на знаменитой парадной лестнице, по которой когда-то генералиссимус спускался, окруженный своими ворошиловыми и бериями, и отчаянно «хохмили»: вот, дескать, были ревизионистами, а стали членами ревизионной комиссии. Неподалеку глумливо ухмылялся главный литературный аппаратчик Беляев.

И вдруг на следующий день улыбочка слетела с бульжной образины. Атмосфера съезда разительным образом переменялась, наполнилась электричеством. Чуть ли не несколько сотен делегатов съезда получили размноженное на папиросной бумаге письмо Солженицына. Он призывал — шутка ли! — просто-напросто покончить с нашей привычкой и даже, как видим, иногда и уютной душительницей, литературной цензурой. Улыбочки, шепотки и подхихикивания разом были покрыты мощным и суровым голосом правды. Писатели пришли в волнение. Не удержусь от соблазна употребить здесь восхитительную фразу — кулуары забурлили! В президиум посыпались записки с требованиями слова. Составлено было несколько писем с требованием отмены цензуры. Это был не просто скандал в благородном семействе, но, повторяю, поворотный пункт для многих из нас — хватит ходить пай-мальчиками под глумливой улыбочкой партийного дядьки. Так из хитрой и не очень-то успешной игры выростала идея открытого сопротивления.

Едкая проза Солженицына навсегда смыла плакатный грим с идеологической образины и обнажила перед всем

миром ее глумливую улыбку. Влияние солженицынских идей распространилось по всему спектру политической мысли Запада. Среди его «детей» и французские бунтари, так называемые «новые философы», и молодые консервативные либералы Соединенных Штатов.

У нас, в эмиграции, сколько голов, столько и мнений. Немало есть мудрецов, что катят бочки на Солженицына, для иных хула, посылаемая в сторону Вермонта, стала уже как бы «делом чести». Обвиняют писателя в упомянутом уже затворничестве, в аятолизме, в реакционном русском национализме. Иные критики договариваются даже до того, что Солженицын ратует за установление в будущей России мрачного клерикального режима, при котором гражданские свободы будут подавлены еще пуще, чем при коммунизме.

На мой взгляд, если уж говорить о столь широком и многоцветном течении, как национализм, Солженицын представляет в нем самую светлую струю просвещенного русского патриотизма, во главе угла у которого стоит не биология, но культура, и где на русского смотрят не как на владыку, но как на жертву, спасением которой должен быть озабочен каждый интеллигент не меньше во всяком случае, чем свободой печати.

Не могу сказать, что я со всеми идеями Солженицына согласен. Не могу, например, согласиться с его оценкой русского либерализма между Февралем и Октябрем. Мне кажется, что не разнузданность либерализма привела к большевистскому перевороту, а как раз его слабость, количественная и качественная недостаточность.

Ежедневно вихляясь между «измами», мы должны быть благодарны Солженицыну за то, что он силой своего пера и личным нравственным примером ослабил влияние существительных с этими язвительными окончаниями и протер до отчетливого блеска наречия с окончанием на «о» — такие, как «чисто», «грязно», «подлю», «честно»...

## ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРОФЕССОРА ВАЛЕРИЯ СОЙФЕРА

Я хочу сказать очень немного, и поскольку действительно у меня не было никакого времени для того, чтобы специально готовить выступление, позвольте мне поделиться несколькими соображениями относительно того великого значения, какое имеет творчество Солженицына сегодня в России. Я недавно из России, после десяти лет пребывания в отъезде мне наконец разрешили выехать из Советского Союза, и так получилось, что в начале этого года в «Огоньке» был напечатан мой очерк о Лысенко, о борьбе мракобесия в советской науке с настоящими учеными. После этого у меня было несколько выступлений, публичных, в Советском Союзе. Это был какой-то необыкновенный случай и вместе с тем этот случай показал, и дал возможность мне это увидеть, значение роли Солженицына в Советском Союзе. Когда многие люди здесь, сегодня, спорят о роли Солженицына, о его вкладе в развитие мировой культуры, в развитие отечественной литературы, в развитие демократического движения в России, то все-таки, все эти люди спорят отсюда, спорят с позиций людей, пребывающих на Западе. Позвольте же сказать несколько

слов о том, как сегодня слово Солженицына воспринимается в Советском Союзе, как именно сегодня, в 1988 году, относится к Солженицыну большинство советской интеллигенции. Я мог ощутить это на простом примере, когда после выступления в Центральном доме работников искусства, где было около тысячи человек, получил гору записок. Примерна одна четвертая часть записок была именно об Александре Исаевиче Солженицыне. Большинство записок касалось двух вопросов — первый: сегодня мы стыдимся того, что творили Сталин и Лысенко с Вавиловым, Кольцовым и другими учеными. Не будем ли мы завтра стыдиться того, что мы сегодня творим с Солженицыным, не пуская его на Родину? Это писалось открыто, под этим стояли подписи, я зачитывал эти записки и видел, так же, как я вижу сегодня ваши лица, каким огнем горели глаза людей, сидящих в зале. Это настоящее, подлинное признание своего светоча, своего лидера, подвигнувшего страну на тот хороший процесс, не на те политические и политиканские игры, а на тот хороший процесс осветления человеческого ума. Несомненно роль Солженицына в этом была огромной, его значение непреходяще и несомненно, что в развитие демократических традиций в Советском Союзе, в России, Солженицын вложил огромный, ни с чем и ни с кем не сравнимый вклад. Второй вопрос, о котором мне хотелось бы сегодня сказать, и также в очень лапидарной форме, это вопрос о роли писателя в современном мире, о его значении для читательской массы не как индивидуалов, а как массы таковой. Естественно, что современникам всегда очень трудно понять значимость того или иного писателя для будущих поколений и для страны в целом. Если мы вспомним сегодня известную нам хорошо историю признания Пушкина в его годы, то мы не можем не согласиться с тем, что не Пушкин был глашатаем времени, а были другие люди. И тем не менее прошло, буквально 10, 15, 20 лет со дня смерти Пушкина, и имя Пушкина воссияло на российском небосклоне, как звезда первой величины.

Поэтому кто из нас сегодня может судить о социальном значении творчества Солженицына? И все же мы можем уже сегодня говорить открыто, что именно Солженицын разрушил в значительной степени левое движение на Западе. Это очень важный тезис. Это очень мощная оценка творчества человека. Если один человек своим трудом, причем трудом, произведенным не в условиях открытости, а в условиях разговора «из под глыб», используя его же термин, если в этих условиях человек сыграл космическую роль, то может ли быть еще более высокой оценка творчества писателя?! Я понимаю, что об этом будет говорить, вероятно, профессор Данлоп, поэтому я не буду больше касаться этого вопроса, но мне кажется, что сама постановка вопроса и сам ответ на него содержат в себе столько плоскостей измерения, столько возможностей для оценки творчества в самых разных направлениях, что одного этого хватило бы для жизни целого поколения писателей, а это было сделано руками одного человека. И есть третий аспект, аспект личности человека. Не скрою, для каждого из тех, кто оказывался в положении человека, к которому могут вломиться агенты КГБ, которого хватают на улице, которого спрашивают, допустим, а откуда вы получили эти материалы, кто вам сказал, когда телефон ваш отключается на полгода, когда вы не получаете писем в течение нескольких лет, для каждого из этих людей понятен страх индивидуума перед будущим, ответственность перед семьей. И вот человеком, который дал пример бесстрашия, был Солженицын. Я помню, что как-то, будучи студентом МГУ, приехал в Горький (я родился в Горьком). У нас там был замечательный учитель логики, он меня встретил на улице, и я ему начал что-то говорить о Хрущеве. Повидимому я говорил очень горячо, и он мне сказал, знаешь, а мы в наше время, когда я был студентом, боялись подумать о том, о чем ты сейчас говоришь. И вот человеком, который разрушил этот страх, который показал, как нужно относиться

ся к самому себе, к тому, что ты делаешь сегодня, к тому, как это будет восприниматься тобой самим завтра, был Солженицын. И его личный подвиг, его личное отношение к своему собственному творчеству, то, что мы можем увидеть из его же книги «Бодался теленок с дубом», когда он пишет, как он превозмогал этот страх, как он переходил ступенька за ступенькой к пониманию своей роли в обществе — это пример огромного морального и человеческого побеждающего начала над тем, что вбивалось 70 лет советской властью в головы людей. Я думаю, что сегодня самая большая проблема Горбачева, наряду, конечно, с проблемами экономическими, это проблема ломки стереотипа советского человека. Я не верю в то, что можно будет в обозримое время получить те человеческие качества, которые может быть иногда в розовые минуты дрем, Горбачеву кажутся наиболее привлекательными. Я думаю, что тот стереотип, который создала советская система или большевистская партия в Советском Союзе, то партийное быдло, которое пронизало собой все поры государственного механизма, не может быть изменено быстро. Но пример Солженицына, человека, поднявшегося над этим миром окостенелости, один из наиболее ярчайших примеров в истории человечества. Поэтому мне кажется, что те споры, которые были отмечены вами, те, так сказать, надругательства, что ли, которые творились, это вещи настолько мимолетные, настолько они, может быть, будоражат сегодня кой-кого, но настолько они ничтожны, по сравнению с величием подвига этого человека, что мы будем спустя многие годы, вспоминать как одно из ярчайших событий в своей жизни, то что мы жили в одно время с Солженицыным. Как говорят — пушкинское время, будут говорить — солженицынское время. Анекдот о том, что Брежнев — это мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой, конечно, только анекдот, а вот то, что наше время будет зваться солженицынским временем, мне кажется, это истина. И то, что один человек сумел сделать в своей жизни, это ве-

личайшее проявление человеческого духа за многие сотни, а может быть и даже тысячи лет развития человечества. Поэтому, узнав сегодня о том, что состоится эта встреча, я с такой радостью воспринял возможность сказать здесь несколько слов, не будучи подготовленным к этому. Но тем не менее мне кажется, что вот эти три главные элемента являются определяющими в творчестве Солженицына и определяют наше, читателей, отношение к нему.

Александр ГЛЕЗЕР

## СОЛЖЕНИЦЫН И ЭМИГРАЦИЯ

В интервью, которое Александр Исаевич Солженицын дал западногерманскому издателю Рудольфу Аугштейну и которое было опубликовано в октябре 1987 года в журнале "Spigel", великий русский писатель дважды с горечью восклицает: "Обо мне лгут как о мёртвом". К сожалению, увы, он более чем прав! Уже чуть ли не пятнадцать лет существует наша, так называемая, третья волна эмиграции, и год от года растут в ней ряды ненавистников Солженицына, которые всё больше и больше клеветуют на него, выступая как на страницах некоторых изданий русского Зарубежья, так и в западной прессе, навешивая при этом на Солженицына, позорящие не его, а их, ярлыки. Они называют Солженицына, писателя, возродившего гуманистические традиции великой русской литературы, "русским аятоллой", "великодержавным шовинистом", "врагом демократии", "великим инквизитором" и даже "Пятой колонной советской пропаганды". Их безнаказанная и бесконечная клевета по адресу замечательного современника потрясает низостью и цинизмом.

У вас, сидящих в этом зале, может возникнуть вопрос: а почему вы думаете, что оппоненты Солженицына на него клеветают, может быть, они просто высказывают свою точку зрения? Но если дело обстоит так, то почему эти оппоненты не раз отказывались от моих устных и письменных предложений провести открытую дискуссию о творчестве и взглядах Солженицына в присутствии западных и русских журналистов? Почему, если эти оппоненты уверены в своей правоте, они не идут на прямой разговор? Уже почти шесть месяцев тому назад в издательстве "Третья волна" вышла книга талантливого и объективного исследователя Доры Штурман "Городу и миру". О публицистике А. И. Солженицына, убедительно доказывающая несостоятельность злых мифов, в которые обрядили Солженицына его яростные критики. И до сих пор эти критики молчат, словно набрали в рот воды. Если они уверены в своей правоте, если могут её доказать, то почему бы этого не сделать?

Вы не знаете как ответить на все эти почему, а, между тем, ларчик, как говорится, открывается очень просто. Ведь с помощью каких приёмов ненавистники Солженицына стараются убедить нас, что он, к примеру, антидемократ, шовинист и, конечно, антисемит, желающий установить в будущей России авторитарно-клерикальный образ правления, и так далее и так далее?.. Да с помощью приёмов, которые известны нам ещё со сталинских времён. Оппоненты Солженицына, почитайте их внимательно, либо вырывают из его текстов цитаты, придавая им чуть ли не прямо противоположный авторскому смысл, либо цитируют творения мало кому известных шовинистов, которые, кстати сказать, то и дело обвиняют Александра Солженицына в измене русской идее, потом почему-то называют их последователями Солженицына, а далее говорят о самом Солженицыне, приписывая ему взгляды этих самых шовинистов. Впрочем, достаточно часто оппоненты Солженицына не утруждают себя и подобными выкрутасами, а просто вкладывают в его уста то, что он никогда не писал и не говорил. Так скажите, могут ли столь недобросовестные толкователи взглядов Солженицына согласиться на участие в открытой дискуссии о его творчестве? Естественно, нет! Они-то понимают, что в ходе такой дискуссии будут немедленно разоблачены. Да и зачем им выяснять истину, если много легче продолжать с завидной неустанностью атаковать великого писателя. И они атакуют. Его критику слабости Запада

они именуют неприятием Запада и демократии, его высокую и чистую любовь к России – великодержавным шовинизмом, они искажают его мысли и чувства, и с каждым годом, повторяю, число таких вот, с позволения сказать, оппонентов Солженицына растёт и растёт. И кого только среди них нет: писатели и критики, публицисты и университетские профессора, редакторы эмигрантских изданий и журналисты... Даже советская печать брежневского застойного времени не выпустила по Солженицыну столько отравленных стрел, сколько сделала за пятнадцать последних лет наша эмигрантская пресса. Журналы "Синтаксис", "Форум", "Страна и мир", приказавший долго жить еженедельник "Новый американец" и многие другие эмигрантские издания, публикуя клеветнические измышления по адресу Солженицына, как правило, не предоставляли и не предоставляют своих страниц тем, кто хотел бы опровергнуть их инсинуации.

К сожалению, в травле Солженицына порой принимают участие и казалось бы вполне солидные органы нашей эмигрантской печати. Хорошо помню, как два года назад один из тогдашних руководителей газеты "Новое русское слово", потирая от удовольствия руки, сказал мне: "На днях мы начинаем печатать новый роман Войновича, там он хорошо ударяет по Солженицыну". И, действительно, в романе "Москва 2042-ой год" известный писатель-сатирик создал пародийный, точнее сказать – пасквильный образ Солженицына и, таким образом, влился в мощную эмигрантскую антисолженицынскую армию или, если угодно, партию.. Но почему, скажите почему, этот злобный пасквиль на великого русского писателя должна было печатать старейшая русская газета?!

Однако обратимся к событиям нынешнего года. Они весьма знаменательны. В московских журналах и газетах, да и не только в московских, но и в ленинградских и в провинциальных, всё чаще и чаще позитивно пишут о Солженицыне, говорят о необходимости извиниться перед ним и опубликовать все его произведения, называют его великим писателем и гражданином России (обо всём этом вам подробно поведаёт в своём выступлении профессор Джон Данлон), а эмигрантские писаки всё не унимаются. На встрече советских и эмигрантских авторов в Дании профессор Эткинд назвал Солженицына писателем, сеющим ненависть. В июне в Сорбоне состоялось выступление известного московского историка Натана Эйдельмана. Среди вопросов, обращенных к

нему из зала, был такой: "Кого вы считаете наиболее крупным современным русским писателем?" "Вопрос неверно сформулирован, – ответил Эйдельман. – Большой русский писатель современности – Александр Исаевич Солженицын". Сидящий в зале профессор Эткинд прореагировал на это заявление Эйдельмана недвусмысленно – громко фыркнул, на что советский историк заметил (за абсолютную точность цитаты не ручаюсь, но смысл сказанного передаю точно): "Ваша эмигрантская грызня, Ефим Григорьевич, меня не интересует, а Солженицын – великий русский писатель". Конечно, слово "грызня" звучит обидно, однако факты, как говорится, вещь упрямая и от них не уйти. Да, увы, грызня, и думаю, что многими из недобросовестных оппонентов Солженицына движет ничто иное, как элементарная зависть, какие-то личные обиды и мелкие счёты. К примеру, талантливый наш прозаик, отказавшись принять участие в сегодняшней конференции, мотивировал свой отказ совершенно вздорными объяснениями, и в частности, вот таким: "Солженицын не ответил на одно моё письмо". "А на сколько ответил?" – поинтересовался я. "На восемь", – ответил он. Вот и судите сами насколько уважительна подобная причина для отказа русского писателя принять участие в конференции, посвященной творчеству его великого современника, автора великой книги "Архипелаг ГУЛаг", писателя, переосмысливающего в многотомном труде русскую историю двадцатого века, писателя, которого французские "новые философы", такие как Андре Глюксман, Анри-Бернар Леви и другие, называют человеком, чьё творчество изменило их мировоззрение, более того – они именуют самих себя "детьми Архипелага ГУЛаг". Слышать это многим нашим завистникам ох как обидно и неприятно. А тут ещё – то американские, то французские телекомпании рвутся предоставить Солженицыну возможность высказать свои взгляды, причём, порою в самых популярных телепередачах. Да тут от зависти и лопнуть недолго. Да тут во гневе чего только не напишешь и не скажешь.

Но дело, конечно, не только в зависти и личных обидах. И тут мне хотелось бы процитировать отрывки из своего открытого письма, опубликованного восемь лет тому назад в десятом номере альманаха "Третья волна":

"Недавно мне попала в руки "Литературная газета" за 9 апреля нынешнего года. В ней я прочитал рецензию кандидата исторических наук Б. Баннова на книгу другого советского ис-

торика Н. Яковлева "ЦРУ против СССР". Оказывается, Яковлев, "привлекая обширные материалы, умело анализирует факты, последовательно воссоздает картину многолетней работы агентов ЦРУ с литературным врасовцем Солженицыным". И далее выясняется, что "знатоки" диверсионных наук, "литераторы" и "ученые" из ЦРУ в поте лица трудились над его сочинениями, которые не имели ни малейшего отношения к литературе". Более того, "Яковлев предметно показывает, как ЦРУ превращало Солженицына в своего агента влияния", а затем "организовало Солженицыну Нобелевскую премию, используя этот раздутый авторитет для воздействия на общественное мнение". Ознакомившись с сочинением Баннова, я вспомнил ещё об одном авторе — заместителе главы госбезопасности СССР Цвигуне. Он со страниц журнала "Коммунист" тоже объявил Солженицына, а также Максимова, Буковского, Амальрика, Плюща и академика Сахарова, агентами ЦРУ, так сказать, врагами номер один. Тут уж я невольно вспомнил и о том, каким бесчисленным и яростным атакам подвергались последнее время Солженицын и Максимов в немецкой, французской, американской леволиберальной прессе, которой старались не уступать и кое-какие русские зарубежные издания. Насчёт левой западной прессы особых вопросов нет — она, видимо, ни что иное как рупор напуганных сторонников детанта любой ценой. Все мы, оказавшиеся на Западе, к сожалению, заметили, что их более, чем достаточно, и немало среди них людей с влиянием и деньгами. Это и понятно. За десять лет детанта здесь сложился поистине новый класс, плотью и кровью связанный с СССР. Этот класс включает в себя промышленников и бизнесменов, лидеров некоторых партий и профсоюзов, профессоров-славистов, ученых, артистов, писателей, журналистов... Для подобных людей диссиденты и олицетворяющий их в западном сознании Солженицын стоят поперёк горла. И это тоже понятно: приехали и рушат милый сердцу и карману детант. Но непонятно, отчего так упорно определённая группа эмигрантов-"интеллектуалов" с пеной у рта доказывает, что Солженицын опасен для России. Они выступают в западной прессе с заклинаниями против "русского аятоллы", они предрекают, что идеи Солженицына приведут к новому ГУЛагу, они обливают грязью Максимова, осмелившегося в "Саге о носорогах" поднять руку на безответственных представителей западной элиты... Они, в частности А. Янов, Е. Клепикова, В. Соловьёв, точно знают о

существовании мощной русской партии, охватывающей как неофициальные, так и официальные круги советского общества. Среди членов этой партии они числят и писателей, и философов, и генералов, и даже некоторых членов Политбюро, которым идеи Солженицына и русского национализма очень на руку. А потому Янов и компания травят Солженицына и русский национализм почище советской прессы, доказывают, что советский режим – всего лишь естественное продолжение царского и уверяют, что надо держаться за детант руками и ногами, поддерживая здоровые силы первой страны социализма. Неясно лишь малое: почему мощная русская партия допускает, чтобы такие убеждённые русские националисты, как Огурцов и Осипов (не говоря уже о менее заметных фигурах), получали гигантские сроки и томились в лагерях. Почему она допускает погромные статьи и книги против главного своего идеолога Солженицына? Ну, ладно, ну, допустим, хоть партия сия и мощна, но все же ещё не достаточно, чтобы защитить своих. Но отчего же не стукнуть тогда хотя бы и этих вроде бы антисоветчиков, однако явных чужаков-западников Янова и Шрагина, Эткинда и Соловьёва... Нет, не стучают. Будто не замечают. Размеры газетной статьи\* не позволяют мне дальше цитировать ни Эткинда, ни Янова, ни Шрагина, ни Клепикову... Да и стоит ли? Мне кажется, и так всё ясно, как ясно почему именно сейчас всем этим людям стала охотно предоставлять место западная пресса. Каждому понятно, что распри русской эмиграции вряд ли эту прессу могли заинтересовать. Но товар анти-солженицынского и антиконтинентовского толка выходит за рамки русских распрей. Это то, что нужно новому классу и его прессе. Владимир Буковский в связи с этим весьма точно заметил: "Любой ишак, который сейчас вякнет против Солженицына или "Континента", сразу же найдёт мировую прессу вкупе с почётным званием писателя-диссидента Советского Союза". Ситуация поистине печальная."

Это, напоминаю, я написал семь лет тому назад. Увы, ситуация и сегодня не стала отнюдь веселее. Пожалуй, – наоборот... Да и с чего веселиться, если даже такой журнал, как "Континент", за исключением одной давней статьи Льва Лосева, ни

---

\* Открытое письмо, отрывки из которого я вам цитирую, было написано в виде статьи для газеты "Новый американец" по договоренности с редактором еженедельника. Однако, несмотря на обещание редакции, "Новый американец" эту статью не опубликовал. Так она превратилась в открытое письмо.

разу не откликнулся на "Красное колесо", главный, по словам Солженицына, труд его жизни. Вдумайтесь, русский эмигрантский толстый журнал не считает своим долгом хоть как-то (неважно – положительно или отрицательно) отреагировать на книгу о русской истории недавнего прошлого, делает вид, что такой книги как бы не существует. Да, где же, чёрт возьми, гласность, неужели только на страницах "Огонька" и "Московских новостей"? И до чего же стыдно, что из всех наших писателей-эмигрантов старшего поколения в нынешней конференции согласился участвовать лишь Василий Аксёнов...

Извините меня за горячность, но обо всём этом говорить спокойно я уже давно не могу. Спасибо за внимание.

Дмитрий БОБЫШЕВ

## ДВА ЛАУРЕАТА

1970 – 1987: семнадцать лет, целая литературная эпоха разделяет эти два русских нобеля, два лауреатства, столь непохожие между собой. Проза и поэзия, при этом как бы поменявшиеся местами: напористый идеализм прозаика, окажись оба в одном измерении, встретил бы скептический отпор поэта, настолько они разные. А ведь, кажется, и пространство у них одно, российско-американское, мировое, да и время это же самое, что у всех нас, их негордых читателей и современников. И, хотя "технически" наши лауреаты принадлежат к разным поколениям, все героические злодейства и затяжные мерзости эпохи стали для каждого из них персональным опытом.

Даже война, которую один встретил воином, а другой – младенцем, могла оказаться равно-чудовищной для обоих – ведь, как гласит мудрость нашего века, душевные травмы бывают тем глубже и болезненней, чем нежнее возраст. Да и младенцы в войну мрут ничуть не хуже, чем новобранцы...

Был и ГУЛag у обоих, и тоже, по их соответствию, разный.

Однако я хотел бы сравнить не творческие биографии, а лишь литературные репутации, то есть сопоставить два умозраемых памятника, которые уже существуют в глазах неравнодушных современников.

Конечно, у каждого писателя есть свой читательский круг (что – триумф), и не обязательно кругам этим совпадать или пересекаться. Так, в сущности, и бывает, но только не в наших двух случаях, которые явно переросли из литературных в жизненные события для общества, включающего все, и читательские, и даже не читательские круги.

Видно, не так-то легко отделить литературный текст от жизни, как бы нам этого ни хотелось. Но приходится признать, что именно внелитературный контекст и влияет сильнее всего на восприятие, как, например, романтическая дуэль Пушкина, открывающая сочувствующие сердца юношества ещё, собственно, до сознательного прочтения стихотворных строк.

Эту мысль очень точно, хотя и несколько картинно, выразил в Нобелевской речи Альбер Камю, сравнивший писателя с гладиатором на арене, от которого публика требует крови.

Действительно, если не буквально кровь, то, можно предположить, пота и слёз пролил лауреат-прозаик достаточно, чтобы сохранить свой труд от посягательств, и жизнь, и личное достоинство, и, главное, стать и остаться голосом миллионов замученных душ, причём после премии ещё более громогласным, чем до. Его вызов чудовищу непомерно сконцентрированной власти, вызов смелый, праведный и почти одинокий, заставил всех нас, буквально, затаив дыхание, следить за перипетиями той заведомо неравной борьбы.

Необычно и его нобелевское лауреатство. Ведь чаще всего эта премия оказывается пышным надгробием для осчастливленных писателей, после чего они просто тонут в лаврах. Примеров называть не надо, их слишком много. В этом случае премия пришла во-время, в самый разгар поединка. Тексты – само собой, но на уровне простых символов важнее, чтобы добро победило зло. При этом силы добра, конечно, персонифицировались в героической личности автора.

Непонятно другое. К этому времени масштабы его писательской мысли ещё более расширились и углубились. Уже не только трагедийный *архипелаг*, но весь катастрофический *континент*

русской новейшей истории стал темой и содержанием грандиозного замысла романиста.

Тем не менее (и здесь-то начинается непонятное) в западной и эмигрантской прессе прокатился какой-то холодок, как от хорошей сплетни, чувства заметно смешались, стали противоречивыми. Прозаик-лауреат всё более начинал впадать в немилость: если не читателям, то, по крайней мере, некоторому, всё умножающемуся числу критиков. Более того, в мировой свободной публицистике наметились попытки де-героизации писателя, едва ли не скоординированная кампания, сходная с волной клеветы на него в советской прессе десятилетием раньше.

Причины такой опалы (или одну из причин) я и хотел бы здесь определить, но чуть погодя, поскольку к этому времени относится стремительное восхождение другого нашего лауреата, поэта, к высшим литературным почестям.

Начиная с ранних 60-х, всё споспешествовало поэту: он входит в узкий кружок ленинградских (питерских?) интеллектуалов, где снискает себе репутацию литературного гения; его представляют Анне Ахматовой; даже гонения оборачиваются ему в конечном счёте на пользу, а вступление к книге, изданной на Западе, начинается с немыслимой фразы о том, что он "впервые возводит русскую поэзию в сан мировой".

Несмотря на дикость этого утверждения, в нём был какой-то толк: поэт, действительно, лез из языка и культуры, как из кожи. Его ранние поэмы, такие, как "Шествие" и "Холмы" имели местом действия некую общеевропейскую абстракцию. Да и в дальнейшем, если принять космополитизм свойством политически нейтральным, то именно это качество его сознания и стиля продолжает усиливаться: латинские название и эпитафии, английские посвящения и прочие западные заимствования и заставки оказываются исключительно характерны для будущего лауреата.

И язык поэм всё более отходит от слова к фразе, строфе, периоду...

Лауреат-прозаик, наоборот, в это время делает свой слог всё более "останавливающим", акцентируя каждое важное слово, делая его наиболее "русским", даже областным, по-Далю, что полностью соответствует его новой сосредоточенности на узловых точках российской культуры и истории.

И вот здесь западная критика впервые делает "фас" на прозаика. Вскоре он становится мишенью для некоторых чрезмерно

публицистических, порой русофобских, взхлёб, упражнений: "монархист", "айятолла", "враг демократии". Дальше – больше: "сумасшедший", "антисемит"...

Полная противоположность прозаику, поэт-лауреат остаётся в лучшем случае равнодушным к русским национальным святыням: например, кроткие великомученики, князья Борис и Глеб, в его стихах "в морду хочут", и т. д.

Это отношение отвечало, и, видимо, продолжает отвечать публичным настроениям на Западе вообще и в эмиграции в частности, – ведь автору не было высказано ни упрёка. Всё же некоторые моменты шокируют даже самых горячих поклонников поэта, таких, к примеру, как Л. Лосев, который попытался как бы влезть в черновики, сфальсифицировать, замазать слишком уродливую строчку в описании типичной русско-отечественной вечеринки, заменив задним числом "кучу" на "кучера". Но здесь, боюсь, национальная этика была ни при чём, а лишь эстетика...

Представленный поэтом-лауреатом как новый князь П. Вяземский (вероятно, за язвительные стихи и желчную публицистику), Лев Лосев оказался тем критиком, который разом высказывался о двух русских живых памятниках. Потому-то его суждения можно взять "общим измерением" для этих, иначе никак не пересекающихся, литераторов. Он издаёт ряд статей о творчестве увенчанного стихотворца, редактирует целый сборник исследований на эту тему. Но даже если Лосев-критик пишет о чём-то другом, то любая тема оказывается для него предлогом, чтобы послать комплимент поэту.

Не исключением в этом смысле было и его исследование о лауреате-прозаике, названное, по-видимому, с иронией: "Великолепное будущее России". Напечатанное в виде статьи в *Континенте* (№ 42, 1984 г.) и транслировавшееся по радио *Свобода* (авг. 1984 г.), это эссе вызвало целую бурю по инстанциям.

Дело в том, что по виду оно являло литературоведческий разбор одного из главных эпизодов исторической эпопеи прозаика, но по сути имело совсем другие, публицистические цели, что совершенно ясно видно из логики статьи, а также из полу-насмешек её обрамления.

Сам замысел романа ставится под сомнение, снижается ухмылкой о том, что "грандиозность проекта вызывает комические протесты у студентов и преподавателей..." На это же снижение работает и эпитафия из "Мёртвых душ" о колесе дрянной

внезапного убийственного действия, политического убийства, – как не змея, "в пята жалящей"? Тем не менее, критик этим библейским образом не удовлетворяется и, желая пушего, выстраивает целые столбцы далеко идущих противопоставлений:

Столыпин	Богров
стоит	извивается
сильный	слабый
мужественный	бесполой
светлый	черный

Из этой коллекции эпитетов Лосев выстраивает собственное символическое противопоставление: "Крест – Змий", и здесь останавливается, приглашая читателя самому сотворить конечную мифологию: "русский – еврей". А, следовательно...

Но если мы всё ещё сомневаемся в причинах, почему повествователь придал такую "змеиность" террористу, то, для большей понятности, эссеист подменяет библейского змея ещё худшим. И – вроде уже не существовало исторического факта, как будто романист его нафантазировал-наклеветал, – так работает зловещая параллель, которую критик извлекает из "Протоколов Сионских мудрецов". "Эти мудрецы решили мирно завоевать мир для Сиона хитростью Символического Змея"...

То есть, если представить, что писатель клянётся в верности фактам, положив руку на Библию, то критик как бы выхватывает из-под руки клянущегося Книгу книг и подсовывает вместо неё "Протоколы".

Итак, логика рассуждений пытается привести нас на самый порог довольно гнусного вывода о великом писателе, в то время, как стиль и слог статьи маскируют это намерение побочными рассуждениями и даже рассеянными комплиментами, – однако, какими? Да, в одном месте Лосеву понравилась фраза из романа, но он тут же эту похвалу отнимает у прозаика и передаёт своему любимцу поэту-лауреату, у которого сходная фраза была, кажется, лучше (или раньше)...

И всё-таки, даже в контексте других нападок на писателя, – откровенных, оголтелых, а порой и уголовно-непристойных, – эта попытка Л. Лосева кажется настолько опасной из-за её коварства, что хочется ещё и ещё раз проверить себя по другому источнику:

чичиковской брочки, явно выбранный по аналогии с "Колесом" эпопеи. Поэтому читатель (или слушатель) уже подготовлен к моменту, когда критик разворачивает главный номер своего разбора.

Прежде всего, он берёт важнейший эпизод романа (но всё же не единственный и не центральный) и, смещая композицию эпопеи, ставит его в самый *центр* повествования: убийство русского премьер-министра Столыпина евреем-террористом Богровым, Учитывая мнение писателя (а критик с ним по-своему согласен), что вместе со Столыпиным были убиты тогда великие реформы и то самое "великолепное будущее России", можно понять, что Лосев навязывает повествователю некий композиционный намёк: мол, смотрите, кто погубил Россию!

Но осторожный критик не хочет сам тыкать пальцем в великого писателя, для этого достаточно сослаться на соответствующие страницы других экспертов-обвинителей: например, на книгу "Соляной столп", где его, Л. Лосева, "понимание этой темы очень близко к трактовке Э. Когана", т. е. автора книги о творчестве лауреата-прозаика (изд. "Поиски", Париж, 1982 г.). Но, если полистать, то вот что пишет на указанных страницах Коган, не стесняясь в выражениях: "Писатель поступает как заправский советский журналист, что выкуривает с наслаждением жида из благопристойно звучащего русского имени". Далее Коган выражается о прозаике-лауреате ещё круче...

Возвращаясь к Л. Лосеву, мы видим, что он, наоборот, пытается из прозаика "выкурить антисемита" и, переставив композиционные акценты, обостряет еврейскую тему. Однако этого мало: ему нужно показать "животный" антисемитизм прозаика, — тогда читатель сам (опять же — не критик) сможет ткнуть в великого писателя пальцем, назвать, заклеить и т. д.

И вот он приступает к этому занятию. Как заметил именно об этой статье Жорж Нива, известный швейцарский славист, "речь идёт о мифологеме змеи: молодой еврей-убийца уподобляется — через размышление о змее — Сатане... Вот, по Лосеву, ещё одно свидетельство присутствия мифологемы змеи: он извивается!" (Журн. "Обозрение" № 17, Париж, 1985).

Действительно, с каким-то особым упоением критик прослеживает в деталях повествование о том, как убийца, заворотив охрану и, внезапно ужалив жертву выстрелом, "змеясь чёрной спиной, убежал". А чему же ещё должен был уподобить прозаик зло

нет ли ошибки, так ли предубеждён этот ядовитый критик против писателя?

Увы, в других сочинениях "нового князя Вяземского" эта неприязнь выражена ещё резче. Вот, например, стихотворение "Один день Льва Владимировича", – не правда ли, название, что-то напоминающее?.. Но последуем дальше:

"...За окном Вермонт...  
...какую не увидишь там обитель:  
в одной укрылся нелюдимый дед,  
он в бороду толстовскую одет  
и в сталинский полувоенный китель."

Здесь уже, что ни слово, то деталь злой карикатуры на знаменитого "вермонтского отшельника", изображаемого как гибрид Толстого и Сталина с накладной бородой...

Что ж, Лосев-стихотворец выражается вполне откровенно, а вот Лосев-критик, адресуясь к "не-читающим" широким кругам публики, как мне кажется, перемудрил... Отсюда и скандал на радио, когда в результате его самого обвинили в антисемитизме, что, конечно, нелепо. Но и он виноват: следовало бы высказываться ясней, как это сделали, например, Янов, Михайлов и Флегон.

В конечном счёте, нельзя не задать этот горький вопрос: почему? Отчего с таким остервенением критики набрасываются на прозаика-гиганта? Не действует ли здесь, по-Крылову, комплекс маленькой и очень злошей зверюшки?

Возможно и это... Но главное – в чём-то другом.

Любопытно, что многие обвинения против писателя строятся вокруг такого вопроса, как его национализм, хотя он себя националистом и не провозглашал. Само это понятие трактуется сейчас настолько широко, что границы его определения расплываются. Где, например, кончается патриотизм, и где начинается шовинизм?

Тем больше неразберихи в оценке различных национализмов: например, так ли уж великолепен польский национализм? А эстонский, латышский, литовский? Существует ли национализм еврейский, а также хорош ли украинский, и чем плох русский? И почему за одним народом он признаётся, а другому отказан?

На эти вопросы очень трудно ответить, хотя чувство под-

сказывает простую аналогию между достоинством национально-культурным и личным. Иначе говоря, всяк может уважать себя, но только не за счёт унижения других.

Если принять это немудрёное правило, то сколько же отпадет напраслин, обид, жёлчи и, в особенности, пенно кипящего публицистического гнева!

Итак, у нас есть два лауреата, и оба принадлежат как русской литературе, так и советской эмиграции...

Однажды Гёте, говоря с Эккерманом о Шиллере, заметил, что в пору его молодой славы Германия разделилась на две, чуть не до драки враждебные, партии: одна за Шиллера, а другая за него, Гёте, — "...вместо того, чтобы радоваться, что у Германии есть разом два таких молодца, как мы оба".

Не стоит ли нам прислушаться к словам великого немца, или же и его следует препарировать по национальному признаку?

Урбана, Иллинойс

4 декабря 1988

**Борис ТИРАСПОЛЬСКИЙ**

## **ИСПОЛНЕНИЕ МИССИИ**

Получив приглашение выступить на конференции, посвященной Александру Исаевичу Солженицыну и его творчеству, я начал обдумывать то, о чём я хотел бы сказать, и тотчас обнаружил, что всё то, что я могу сказать, будет произнесено в весьма специфическом жанре и только в нём. Жанр этот древний, но свой наиболее полный расцвет получил он в русской литературе за последние лет 70, а если быть совсем точным – в советский её период. Имя этому жанру – панегирик. Некоторые советские писатели так поднаторели в нём, что, забыв о многообразии жанров в литературе, сделали панегирик целым направлением в своём, с позволения сказать, творчестве. Мы знаем панегирики революции и панегирики коллективизации, панегирики вождям и панегирики армии, панегирики дружбе народов и панегирики карательным органам... В последнее время мы наблюдаем феномен появления нового типа панегирика – панегирика "перестройке"...

Однако, когда речь заходит о Солженицыне, нет ничего более противоестественного, несовместимого и взаимоотталкивающего-

гося, чем творчество и мирочувствие этого писателя и столь любимый и лелеемый в советской литературе жанр.

Словом, будучи не в состоянии совладеть с могучими традициями советской литературы, я уже было решил отказаться от участия в конференции, но тут мне на глаза попался один из ранних рассказов Солженицына. Первый и единственный раз прочёл я его много лет назад в январском номере журнала "Новый мир" за 1963 год. Это был "Матрёнин двор" – пронзительная история жизни и смерти Матрёны Васильевны Захаровой, которую Солженицын знал лично. С годами детали рассказа стёрлись в моей памяти, и я перечитывал его как бы заново. Но более всего меня поразило то, что я совершенно забыл конец рассказа. Уверен, что у большинства присутствующих в этой аудитории память лучше, чем у меня, но я, тем ни менее, позволю себе напомнить эти строчки:

"Избу Матрёны до весны забили, и я переселился к одной из её золовок, неподалёку. Эта золовка потом по разным поводам вспоминала что-нибудь о Матрёне и как-то с новой стороны осветила мне умершую...

...Все отзывы её о Матрёне были неодобрительны: и нечистоплотная она была; и за обзаводом не гналась; и не бережная; и даже поросёнка не держала, выкармливать почему-то не любила; и глупая, помогала чужим людям бесплатно (и самый повод вспомнить Матрёну выпал – некого было дозвать огород вспахать на себе сохой).

И даже о сердечности и простоте Матрёны, которые золовка за ней признавала, она говорила с презрительным сожалением.

И только тут – из этих неодобрительных отзывов золовки – выплыл передо мною образ Матрёны, какой я не понимал её даже, живя с нею бок о бок.

В самом деле! – ведь поросёнок-то в каждой избе! А у неё не было. Что может быть легче – выкармливать жадного поросёнка, ничего в мире не признающего, кроме еды! Трижды в день варить ему, жить для него – и потом зарезать и иметь сало.

А она не имела...

Не гналась за обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни.

Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев.

Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая шесть детей, но не нрав свой общительный, чужая сестрам, золов-

кам, смешная, по-глупому работающая на других бесплатно, — она не скопила имущества к смерти... Грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы...

Все мы жили с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.

Ни город.

Ни вся земля наша."

Перечитав эти последние строчки, я понял, что обязан выступить на конференции. Мне стало совершенно не важно, в каком жанре будет моё выступление — я готов принять полную ответственность за него. Вдобавок, у меня нет личного знакомства с Александром Исаевичем Солженицыным и поэтому, естественно, никаких личных симпатий тоже нет. Но то, что я почувствовал и понял, представляется мне настолько важным, что я считаю нравственно недопустимым замалчивать это. Творчество и жизнь Солженицына дают замечательный повод для серьёзных и глубоких размышлений. С ними я и хочу поделиться сегодня с вами.

Какие качества создают великого писателя?

В своём автобиографическом очерке "Люди и положения" Борис Леонидович Пастернак пишет:

"Что такое литература в ходовом, распространённом смысле слова? Это мир красноречия, общих мест, закруглённых фраз и почтённых имён, в молодости наблюдавших жизнь, а по достижении известности перешедших к абстракциям, перепевам, рассудительности. И когда в этом царстве установившейся и только потому незамечаемой неестественности кто-нибудь откроет рот не из склонности к изящной словестности, а потому, что он что-то знает и хочет сказать, это производит впечатление переворота..."

Итак, два основных качества определяют великого писателя — "он что-то знает и хочет сказать".

Солженицын воистину знает "что-то". Это "что-то" есть величайшая и вечная тайна — тайна о человеке. Она не может быть вычитана в книгах и не может быть навязана извне. Тайна эта открывается только изнутри через откровение, и живая душа человеческая принимает её как благодать. Но она же защищает самоё себя, превращаясь для тех, кто не имеет глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать, в затёртую фразу, в трюизм.

В самом близком и наименее искажённом виде тайна эта

звучит примерно так: "Человек – есть образ Божий, и смысл человеческой жизни состоит в проявлении этого высшего образа через очищение от всего, что является искажением Его истинной природы – Любви, Света и Радости".

Но Солженицын не только знает тайну о человеке, он ещё "и хочет сказать" об этом. Здесь мы встречаемся с ещё одной тайной, но эта тайна самого писателя. О ней лишь намёк.

Помните пушкинского "Пророка"?

И Бога глас ко мне воззвал:  
"Восстань, пророк, и виждь, и внемли,  
Исполнись волею моею,  
И обходя моря и земли,  
Глаголом жги сердца людей."

Великий писатель не столько "хочет сказать", сколько не может не сказать. На него возложена миссия, которую он благодарно принимает на себя и несёт всю жизнь – слово писателя становится животворящим и огненным.

Исполнение такой миссии требует от писателя высочайшей ответственности за каждое слово – написанное или произнесенное – если ещё строже, за каждую мысль.

Исполнение такой миссии требует от писателя полного самозабвения. Слово русское "самозабвение" означает – забыть о себе: забыть о гордыне, тщеславии, корысти, страхе...

Исполнение такой миссии требует от писателя самопожертвования. И здесь творчество и жизнь становятся едины и нераздельны.. За то, что писатель пишет, он отвечает всей своей жизнью и даже смертью.

И, наконец, высшие нравственные критерии, в соответствии с которыми исполняет писатель возложенную на него миссию.

Как-то, давая характеристику одному из поэтов, Борис Леонидович Пастернак сказал: "Как он – поэт этот – может быть хорошим поэтом, если он плохой человек". Можно не сомневаться, что, говоря "плохой человек", Пастернак не имел в виду отношения поэта с соседями по квартире. Пастернак подразумевал высшие нравственные критерии, по которым, очевидно, поэт этот не ориентировался ни в творчестве своём, ни, тем более, в жизни. Высшие нравственные критерии очень часто не имеют ничего общего с расхожей общественной моралью. Иногда они даже

противоположны ей. Вспомните Матрёну из "Матрёниного двора" – все отзывы о ней были неодобрительны. Расхожая общественная мораль это то, что пытаются навязать великому писателю во все времена. За примерами в русской литературе далеко ходить не надо. Великий писатель вовсе не обязан прилаживаться к расхожей общественной морали, даже если эта общественная мораль служит интересам объективно-прогрессивного общественного движения. Как раз наоборот – это общественное движение любого толка и, в первую очередь, "объективно-прогрессивное" обязано учиться у великого писателя высшим нравственным критериям, тем самым, без которых невозможно исполнение никаких миссий – ни духовных, ни социальных.

Ответственность, самозабвение, самопожертвование и высшая нравственность – в совокупности с писательским даром – вот то, что присуще художнику и человеку Александру Исаевичу Солженищину.

Не надо обладать особым провидческим даром, чтобы утверждать то, что в недалёком будущем откроется многое из того, что сейчас мало или почти неизвестно о нём. В недалёком будущем мы, наверняка, узнаем новое о том, как Солженищину бескорыстно и без какой-либо шумихи щедро помогал огромному количеству людей морально и материально, жертвовал на строительство и поддержание храмов, как старался по крохам сохранить культуру русскую и историю; мы узнаем, что, как и Матрёна, не гнался он за обзаводом... Не выбивался, чтобы купить вещи и потом беречь их больше жизни. Не гнался за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев... И ещё многое и многое узнаем мы...

И воздадим мы тогда должное Солженищину, и дифирамбы ему воспоём, и памятники поставим, и улицы назовём, а главное – каяться будем, чтобы потомки наши в строку нам нашу духовную слепоту и глухоту не поставили...

Да только от одной мысли о таком будущем мне становится не по себе. Для того и выступаю сегодня, чтобы в этом будущем не пришлось мне произносить о Солженищине примерно те же слова, что написаны покаянно о Матрёне Васильевне Захаровой в "Матрёнином дворе" – не понимали мы Александра Исаевича, "даже живя с ним бок о бок"... Все мы жили в одно время и не поняли, "что есть он тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни земля наша."

Галина БОВИ-КИЗИЛОВА

## РОСИИЯ И СОЛЖЕНИЦЫН – НЕРАЗДЕЛИМЫ

Мое выступление не будет носить строго литературного характера – здесь уже много говорилось о явлении Солженицына как в литературе, так и в жизни – мое выступление будет своего рода обращением к вам, сидящим в этом зале, и к самой себе, то есть я коснусь вопроса о нашей с вами причастности к той эпохе, которую назовут именем Солженицына.

Я думаю, что любая человеческая судьба тем или иным образом – видимо или невидимо – связана со своим временем; но есть эпохи особенные, которые требуют не только конкретного в них присутствия, но и полной отдачи физических и душевных сил. Я думаю, что мы с вами живем именно в такое решающее время, судьбоносное не только для русского народа, но и для всего мира.

В 1918 году Марина Цветаева написала: «Андрей Шенье взошел на эшафот, а я живу и это страшный грех, есть времена железные для всех, и не поэт кто в порохе поет, и не отец, кто с сына у ворот, дрожа срывает во-

инский доспех. Есть времена, где солнце смертный грех, ни человек, кто в наши дни живет».

Именно поэтому у меня возникает вопрос, что конкретно мы, для которых Солженицын и Россия не мыслятся отдельно, что мы сделали для того, чтобы Россия и Солженицын соединились и на земле? — в вечности они уже неразлучимы и неразрывны, — возникает также вопрос, что мы сделали для России и для ее великого сына, потому что строки из стихотворения Кублановского о России «Чужим не понята, оболгана своими» можно полностью отнести и к Солженицыну. И тем больше, что Россия и Солженицын оболганы своими, и тем постыднее должно быть всем, кто считает себя россиянами, что так мало находится людей способных защищать и Россию и Солженицына, тем горше думать, что Солженицыну надо отрываться от работы, терять драгоценные минуты, чтобы отвечать на нападки как с Востока, так и с Запада.

Мотивы таких нападков различны, но зависть одна из движущих сил чуть ли не единодушной неприязни к Солженицыну в кругах русской эмиграции. Неприятие же Солженицына западными либералами, западной интеллигенцией — идейное, идеологическое, и сродни ненависти со стороны идеологов и защитников тоталитарного режима. Во всяком случае, у меня составилось такое мнение во время работы в одном из швейцарских университетов и при непосредственном общении как со студентами, так и представителями швейцарской интеллигенции. Надо признать, что дезинформация из СССР с помощью русской эмиграции поработала на славу и сумела из Солженицына сделать пугало прогрессивно-либеральной среды. А так как эта среда довольно обширна, то неприятие Солженицына переходит в коллективную ненависть. У молодежи появился удивительный в эпоху полной свободы и вседозволенности, предрассудок: читать Солженицына не буду и не хочу — я о нем уже начитался. Чего же, спрашивается, начитался молодой западный человек в своей прессе (а читают они в основном только прессу)? Что Солженицын — реакционер, нетерпи-

мый шовинист (слышите? русский Аятолла), истерик — да, да, так и написал один швейцарский журналист; а в этом году появилась статья даже об интимной жизни Александра Солженицына, в которой автор, чуть ли не плача, жалел всю семью, а особенно жену, которую Солженицын держит в ежовых рукавицах. Все это было бы смешно, если бы не было так грустно и трагично. Моя встреча с одним из журналистов, именно тем, который написал, что Солженицын истерик, показала что Солженицына он не читал и читать не будет, потому что он — антисоциалист и антимарксист. Вот это и есть точка соприкосновения Запада и Востока (говорю об идеологах) в отношении Солженицына: неприятие его мировидения, его глубокой религиозности и веры в Божий Промысел. Его разоблачение тех благих намерений, которыми вымощена дорога в ад, выбивает у западных либералов почву из под ног и заставляет взглянуть правде в глаза, взглянуть по другому и на Россию, и на ее историю и трагедию. А значит, и это самое трудное, взглянуть и на самого себя, как участника нашей трагической эпохи. Мы знаем примеры, когда именно Солженицын и его книги резко меняли судьбы западных интеллигентов. К сожалению, в общей массе по-прежнему кружат штампы в оценке Солженицына (в университетах ведь почти не преподают нобелевского лауреата); и сегодня, при более свободных контактах с Россией и возрастающем интересе к Солженицыну в России, к нашей великой скорби, сомнительная информация о Солженицыне теперь течет в Россию с Запада. Да, она передается теми, кто здесь Солженицына не читал и читать не будет, повторяю, по идейным причинам. И эта дезинформация может влиять (я в этом убедилась при встрече с советской группой в Швейцарии) на тех в России, кто Солженицына еще не читал. И опять возникает вопрос: а может нам сейчас-то и надо приложить все усилия, чтобы туда доходила правда, столь необходимая России? Может, здесь-то мы и можем послужить той России, которая в покаянии очищает себя от скверны, следуя зову ее великого мужа

и сына. Вернется Солженицын в Россию или нет – зависит тоже от наших общих усилий. Что касается Солженицына, Россия его никогда не покидала. Как написала в 1931-ом году Цветаева: «Забывать Россию может бояться лишь тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри, тот потеряет ее лишь вместе с жизнью».

Джон Б. ДАНЛОП

**КАК АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН  
БЫЛ ПОЧТИ РЕАБИЛИТИРОВАН  
И СНОВА ПРЕДАН АНАФЕМЕ**

Попытка реабилитации А. И. Солженицына в минувшем году, вслед за которой нобелевского лауреата вновь предали забвению, была одним из самых захватывающих эпизодов горбачёвской культурной оттепели. Под давлением реформаторски настроенной советской интеллигенции режим подошёл невероятно близко к тому, чтобы позволить публикацию избранных глав из "Архипелага ГУЛag" – книги, резко и беспощадно разоблачающей советскую систему концлагерей и бесчеловечную идеологию, которой оправдывалось их существование. Однако в последний момент власти сделали шаг назад, передумали и вернули Солженицына на положение лица, официально не существующего у себя на родине. Это решение, принятое в октябре – ноябре 1988 года, представляет собой первый существенный "заморозок" в период нынешней культурной оттепели и, возможно, является поворотным пунктом в советском политическом курсе.

13 февраля 1974 года Солженицына официально обвинили в

"измене родине" и выслали из Советского Союза. Эта акция была в основном следствием того, что в руки властей попал рукописный вариант "Архипелага ГУЛаг". Вначале осыпав писателя градом уничтожающей критики, советская пресса затем вообще изгнала со своих страниц имя Солженицына.

В первые два года владычества Горбачёва Солженицын по-прежнему не упоминался в печати. Уже были даны анонсы о предстоящей публикации таких ранее запрещённых произведений, как "Доктор Живаго" Б. Пастернака и "Реквием" А. Ахматовой, однако, книги Солженицына оставались запретным плодом. Причины этого навязанного сверху молчания отгадать было нетрудно. Солженицын категорически не принимает идеологию, лежащую в основе советского строя, и весьма отрицательно относится к основателю советского государства В. И. Ленину.

Но к 1987 году в действие пришли силы, изменившие статус Солженицына в глазах советской интеллигенции. "Культ личности" Сталина подвергся сокрушительной критике, шедшей гораздо дальше, чем в хрущёвские годы. Резкому осуждению подвергся и восемнадцатилетний брежневский "период застоя". Эти нападки не могли не привести к положительной оценке тех, кто – как Солженицын – осмелился противостоять и тому, и другому тирану. По мере того, как всё более розовым предстал хрущёвский период, в особенности – журнал "Новый мир", стоявший в авангарде реформ под руководством покойного А. Твардовского, росло и уважение к тем, кто внёс свою лепту в этот процесс. (Сам Горбачёв отдал дань растущему культу Твардовского: в 1987 году он пожертвовал 50.000 рублей из доходов со своих книг, опубликованных за границей, на строительство памятника Твардовскому в Смоленске.) Поскольку "Один день Ивана Денисовича" Солженицына был апогеем хрущёвских реформ в области культуры, всё труднее становилось умалчивать об исторической роли автора.

Наконец, возвращению Солженицына из небытия способствовал заметный подъём русских националистических чувств в условиях гласности. С появлением в Москве экстремистского антисемитского неформального объединения "Память" (впоследствии ставшего называть себя народным фронтом) и возникновением подобных организаций в ряде русских городов социал-демократам и либералам западного толка стало просто необходимо привлечь Солженицына на сторону горбачёвских

реформ. Многие считали, что Солженицын, с его безупречной репутацией русского патриота, мог бы стать значительной силой, способствующей умеренности. В отличие от "Памяти", Солженицын не верит в существование дьявольского "жидомасонского заговора"; напротив, он считает, что колоссальные трудности Советского Союза в первую очередь — результат идеологического порабощения.

В феврале 1987 года главный редактор "Нового мира" Сергей Залыгин сделал, вероятно, первый шаг по направлению к реабилитации Солженицына: он намекнул в разговоре с иностранным журналистом, что произведения Солженицына, возможно, будут опубликованы в СССР. За этим последовали возмущённые опровержения со стороны советских чиновников; но пробный шарик был запущен и продолжал подниматься.

Через три месяца, в мае 1987 года, другой член редколлегии "Нового мира" Анатолий Стреляный сказал в ответ на вопрос, заданный ему во время встречи в Московском университете: "Если мы не напечатаем Солженицына в "Новом мире", другие журналы напечатают". (В ноябре 1987 года Стреляный был выведен из состава редколлегии журнала — видимо, по настоянию партийных консерваторов.)

То, что за публикацию Солженицына выступали двое редакторов "Нового мира", было вполне закономерно. При Твардовском этот журнал напечатал несколько крупнейших произведений Солженицына и заключил договор на публикацию его романов "В круге первом" и "Раковый корпус". Более того, "Новый мир", в редакцию которого теперь входили и такие либеральные русские националисты, как Залыгин и академик Дмитрий Лихачёв, и такие либералы-западники, как Стреляный, был, вероятно, изданием, наиболее близким к точке зрения самого Солженицына на будущее развитие Советского Союза.

В январе 1988 года была сделана успешная попытка "проташить" имя Солженицына в печать. В первом номере журнала "Литературная учёба" критик Игорь Виноградов, отдавая должное вкладу в русскую культуру писателей-эмигрантов, включил в список и Солженицына. (Виноградов, как и Стреляный, был выведен из состава редколлегии "Нового мира" в ноябре 1987 г.)

В феврале член редколлегии газеты "Уолл стрит джорнел" Рэймонд Соколов, вернувшись из поездки в Москву, сообщил, что,

по мнению Залыгина, роман "В круге первом" может в ближайшее время быть напечатан.

В конце весны и начале лета эти пробные шаги и вылазки переросли в подлинную кампанию за реабилитацию Солженицына. Возможно, что в этот процесс внёс вклад, сам того не зная, президент Рейген: во время посещения Даниловского монастыря в Москве, когда проходила майская встреча в верхах, он процитировал "одного из величайших писателей и верующих этой страны – Александра Солженицына". Это заявление дало повод поэту Евгению Евтушенко сказать в интервью газете "Московские новости": "Президент говорил о возможном возвращении Солженицына. Я не официальное лицо и не мне заниматься паспортными проблемами, но, по-моему, сегодня каждый должен сам решать своё будущее..." (обратный перевод с английского). По словам Евтушенко выходило, что, если Солженицын хочет вернуться на родину, это, скорее всего, можно будет устроить.

То, что Евтушенко присоединился к сторонникам реабилитации Солженицына, было фактом весьма значительным. Всем было известно, что он – горячий сторонник Горбачёва; он же был одной из ведущих фигур хрущёвской оттепели. Его поддержка имела вес.

В начале лета 1988 года кампания за реабилитацию Солженицына стала набирать скорость. Вышёл июньский номер "Нового мира" с подборкой из "Колымских рассказов" покойного Варлама Шаламова о страшном комплексе лагерей в дальневосточной части СССР. В своём введении к рассказам Шаламов упоминает Солженицына рядом с Л. Н. Толстым. В рецензии на рассказы Шаламова в еженедельной "Литературной газете" критик А. Латынина умудрилась дважды упомянуть Солженицына.

В июле к этой кампании подключились две крупнейшие фигуры из рядов русских националистов: художник Илья Глазунов и писатель Виктор Астафьев. В Москве открылась выставка работ Глазунова, пользующегося громадной популярностью у русской публики, хотя и не у профессиональных искусствоведов. Одной из сенсаций выставки было полотно во всю стену под названием "Мистерия двадцатого века", на котором среди прочих фигур, был изображён Солженицын в тюремной одежде. По сообщению репортёра из "Лос-Анджелес Таймс" советский гид, водивший посетителей по выставке, объявлял: "А это – наш великий со-

временный русский писатель Александр Исаевич Солженицын, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1970 год!"

Корреспондент от газеты "Московские новости" услышал следующий разговор между молодым человеком и его девушкой:

– В гробу Сталин, да? А кто вон тот – шведская борода, лицо такое печальное?

– Это? Это...

– Это писатель Александр Солженицын – прихожу на помощь молодому человеку. – Приходилось что-нибудь читать?

– Да что вы: где же достанешь?

Статья в "Московских новостях", озаглавленная "Здравствуйте, Иван Денисович!", расхваливала опубликованную в 1962 году повесть Солженицына. "В брежневские времена, – с возмущением замечает корреспондент, – лагерная тема вновь оказалась под запретом: вроде бы ничего такого и не было – ни зэков, ни "Одного дня", ни его автора..."

В том же месяце прозаик-сибиряк В. Астафьев – как и Глазунов, откровенный русский националист-"центрист" – присоединился к борьбе за Солженицына. 27 июля по советскому телевидению была показана часовая передача, в которой выступали редакторы и крупнейшие авторы националистического русского журнала "Наш современник". К концу передачи, как сообщается в бюллетене Мюнхенской радиостанции "Свобода", "Астафьев зачитал письмо, в котором спрашивалось о его отношении к Солженицыну... В ответ Астафьев рассказал, как в прошлом году он ездил во Францию – по его словам – с единственной целью: посетить могилу И. А. Бунина... Астафьев рассказал телезрителям, что, придя на могилу Бунина, он сказал: "Дорогой Иван Алексеевич, простите нас! Если живёт Ваша душа, простите свою несчастную родину!" Астафьев предсказал, что когда-нибудь его внуки точно так же пойдут на могилу Солженицына и произнесут те же слова".

Выступление Астафьева тронуло и потрясло телезрителей. Его слова впоследствии часто цитировали сторонники реабилитации Солженицына, что неудивительно. Астафьев – один из самых влиятельных писателей в Советском Союзе; его последний роман "Грустный детектив" по тиражу занимает четвертое место в СССР за 1987 год. Знаменательно, что Горбачёв после своей шумевшей поездки в сибирский город Красноярск не преминул сообщить на

страницах "Правды", что он встречался с Астафьевым и внимательно прислушался к его словам.

В августе кампания за реабилитацию Солженицына вдруг рванулась полным ходом вперед. В интервью, появившемся в "Литгазете" за 3 августа, С. Залыгин подтвердил, что публикация "Ракового корпуса" в "Новом мире" в 1989 году "не исключена". А через два дня – политическая бомба: в журнале "Книжное обозрение" появилась статья литературоведа Елены Чуковской под названием "Вернуть Солженицыну гражданство СССР".

Чуковская напоминает о том, что Солженицын сидел за критику Сталина, был офицером Советской армии во время Второй мировой войны и получил боевые награды, призывал к гласности еще в 1969 году. Она подчёркивает, что в изгнании на Западе он оказался "не совсем добровольно".

Что касается сообщений о предстоящем в 1989 году выходе романа "Раковый корпус" в "Новом мире", Чуковская выражает твёрдое убеждение, что сначала следует восстановить писателя в советском гражданстве. "Пора, – пишет она в заключение, – прекратить затянувшуюся распрю с замечательным сыном России, офицером Советской армии, кавалером боевых орденов, узником сталинских лагерей, всемирно знаменитым русским писателем Александром Солженицыным. Пора задуматься над примером его поучительной жизни и над его книгами."

Особый пафос придавало этому воззванию то, что Чуковская – дочь и внучка знаменитых писателей и критиков Корнея Чуковского и Лидии Чуковской, у которых Солженицын находил приют, когда подвергался преследованиям со стороны властей. Л. Чуковская вспоминает: "Иногда он жил у нас по несколько дней подряд, иногда неделю или даже месяц... Здесь он всегда мог найти прибежище... Обстоятельства могли меняться, но он всегда мог приехать к нам с предупреждением в последнюю минуту, независимо от обстоятельств: нам было всё равно, поют ли ему хвалу или облаивают." (Обр. перевод с англ.)

Статья Елены Чуковской писалась в расчёте на то, что вокруг неё смогут объединиться сторонники реабилитации Солженицына и издания его трудов. Так и вышло. Номера "Книжного обозрения" от 12 августа и 2 сентября были посвящены откликам читателей на красноречивое воззвание Чуковской. В заметке от редакции говорилось, что отклики начали поступать в день выхода газеты: "Читатели звонили, приходили сами, приносили телеграммы и

письма..." Всего было получено более двухсот писем, из них пятнадцать – против предложения Чуковской, а остальные (т. е. более 90%) – в поддержку. "Книжное обозрение" напечатало подборку полученных писем.

Известный писатель Вячеслав Кондратьев в своём письме горячо поддерживает предсказание Астафьева, что грядущие поколения русских будут испытывать острое чувство вины, приходя на могилу Солженицына за границей. Заслуги Солженицына в деле десталинизации, пишет он, ни с чем не сравнимы. Его повесть "Один день Ивана Денисовича" была "первым (опубликованным) художественным словом, разоблачающим культ Сталина". Нынешние разоблачители Сталина – автор "Детей Арбата" А. Рыбаков и другие – идут по его стопам. "Но А. Солженицын был *первым*."

Кондратьев говорит о мужестве, которое проявил Солженицын, единолично бросив вызов смертоносному брежневскому режиму: "А. Солженицын нужен России и всем нам не только как писатель огромного таланта, но и как *личность*. Стоит только представить, какую силу, какое мужество надо было иметь писателю, чтобы в одиночку вступить в противоборство с могучей и жестокой административной системой, которая могла раздавить человека одним мановением. Кстати, тогда у него были уже маленькие дети, судьбу которых, а также и жены, он вполне представлял, если с ним случилось бы непоправимое, а такое случиться могло."

Солженицын, заключает Кондратьев, уникален. "Нет сейчас у нас в России писателя такого уровня. Александр Исаевич должен быть с нами..."

Другой советский писатель, Владимир Лазарев, также отдает должное поразительной отваге Солженицына: "Солженицын, следуя традициям Льва Толстого и Федора Достоевского, готов был принять любые страдания за правду, нести свой крест до конца..."

Совместное письмо пришло от известного филолога Вячеслава Иванова и математика Игоря Шафаревича (соавтора Солженицына по сборнику "Из-под глыб"). Они спрашивают, почему Б. Пастернака восстановили в Союзе Советских Писателей, а Солженицына – нет. Утверждая, что произведения Солженицына принадлежат к числу "высших достижений русской литературы

двадцатого века", они требуют немедленной публикации всего, что было написано им до высылки из Советского Союза.

В своём письме в "Книжное обозрение" Ст. Лесневский выражает убеждение, что "общество не может считать себя подлинно свободным и нравственно здоровым, когда русский писатель такого уровня, как Александр Солженицын, не может жить, работать и самовыражаться" у себя на родине – (обр. пер. с англ.). Лесневский подчёркивает, что согласен с мнением Астафьева о Солженицыне и его значении.

В. Самусенко в своём письме отмечает, как и многие другие, что не обязательно разделять по всем пунктам мировоззрение Солженицына, чтобы его печатать. "Разве мы согласны, – спрашивает он, – со всем, что писали Федор Достоевский и Лев Толстой?" (Обр. пер. с англ.)

Выразили свои мнения в письмах и несколько профессиональных историков. Их оценка работ Солженицына, конечно, чрезвычайно важна ввиду спорного толкования нобелевским лауреатом предреволюционной и советской истории. Историк Натан Эдельман в начале своего письма предсказывает "на основании своего опыта историка", что через несколько десятков лет, а может быть и раньше, "в нашей стране будут улицы, площади, фабрики и библиотеки имени Солженицына". От него исходит грозное предупреждение тем, кто пытается остановить реабилитацию Солженицына: будущие поколения захотят знать, кто стоял за писателя, а кто подвергал его "гнусным преследованиям". (Обр. пер. с англ.)

Советский историк Я. Эгингер объявляет, что "Архипелаг ГУЛаг" помог стереть "одно из самых больших "белых пятен" в нашей истории". Более того, по его словам, в 1970-е годы Солженицын и академик А. Д. Сахаров "олицетворяли дух сопротивления здоровых и демократических сил советского общества сталинизму и брежневизму". Сахаров ныне возвращён в Москву; пора вернуть и Солженицына.

Авторы некоторых писем пытались привести призыв к реабилитации Солженицына в соответствие с горбачёвским "новым политическим мышлением". Первым среди них был литературный критик Валентин Оскоцкий.

Оскоцкий начинает с того, что называет высылку Солженицына "позорным", "противозаконным, антиконституционным деянием". Повесть "Один день Ивана Денисовича" была,

по его словам, "Главной Книгой не одного 1962 года, всего "оттепельного десятилетия". Эта книга должна непременно быть переиздана, равно как и блестящий рассказ Солженицына "Матрёнин двор" – произведение на уровне мировой классики. Романы "В круге первом" и "Раковый корпус" тоже надо издать. И если бы "Новому миру" удалось выпустить эти романы в свет в 1960-е годы, "как знать – не по-другому ли сложилась бы судьба не только писателя, но и самой нашей литературы?"

Если Оскоцкий с энтузиазмом отзывается о ранних писаниях Солженицына, то его отношение к таким поздним произведениям, как "Август четырнадцатого" и "Бодался телёнок с дубом" – более сдержанное. (В этих поздних произведениях более выражен религиозный национализм Солженицына и более резко его враждебное отношение к советской власти.) Точка зрения Оскоцкого, явно настроенного прогорбачёвски, сводится, видимо, к тому, что более ранние произведения Солженицына, в том числе "Архипелаг ГУЛаг", надо напечатать сейчас, а публикацию написанного им в ссылке можно отложить.

Сергей Бурин, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Академии наук СССР, в своём письме берётся за самые сложные политические проблемы, связанные с реабилитацией Солженицына. В первую очередь – критическое отношение писателя к основателю советского государства В. И. Ленину, выраженное, например, в книге "Ленин в Цюрихе". Но сам Ленин, напоминает Бурин, "с неизменным уважением относился к своим политическим оппонентам" – к Троцкому, например. Неужели, спрашивает Бурин, "мы боимся человека, чьи мысли не во всём совпадают со старыми газетными передовицами?" Труды Солженицына, "признанные и читаемые во всём мире", должны стать частью советского литературного наследия.

Бурин подчёркивает, что его оценка Солженицына беспристрастна. Лично он "никогда не был горячим поклонником именно творчества Солженицына" и находил "исторические неточности" в "Архипелаге ГУЛаг". Но это не значит, что Солженицына не нужно печатать.

"Так чего же мы боимся сейчас в творчестве Солженицына? – напрямик спрашивает Бурин. – "Архипелага"? Но такие недавно напечатанные произведения, как "Дети Арбата" Рыбакова, замечает он, идут гораздо дальше Солженицына в критике сталинского периода.

Стоит ли бояться более поздних писаний Солженицына? "Но в конце концов, — пишет Бурин, — никто нас не заставляет немедленно издавать «всего Солженицына»". Печатать можно выборочно.

Письмо Бурина заканчивается личным обращением к писателю-изгнаннику: "Простите нас, дорогой Александр Исаевич, за то, что в своё время мы не вступились за Вас... Мы Вас помним и любим. И ждём домой". И Бурин рисует в воображении картину сходящего с трапа самолёта Солженицына, которого тепло встречают в Москве.

Как уже было сказано, в редакцию поступило пятнадцать писем против предложения Чуковской вернуть Солженицыну советское гражданство. Как и следовало ожидать, по их содержанию казалось, что все эти письма были согласованы. В шестом номере за 1988 год неосталинистского ежемесячника "Молодая гвардия" некий В. Мещеряков нападает на Солженицына за его слова в "Архипелаге": "Эта война (т. е. Вторая мировая) показала нам, в общем, что нет ничего хуже на свете, как быть русским..." (обр. пер. с англ.). Выдёргивая слова Солженицына из контекста, Мещеряков даёт понять, что писатель — русофоб, хотя на самом деле совершенно очевидно обратное. Это обвинение в ненависти к русским появляется и в ряде писем в "Книжное обозрение".

Второе, на что нападают авторы антисолженицынских писем — то, что Солженицын якобы агент ЦРУ. Это обвинение впервые было выдвинуто в одном из самых мерзких пасквилей брежневской эры — книге Н. Н. Яковлева "ЦРУ против СССР".

В письме в "Книжное обозрение" некий В. Золотов заявляет: "После того, что он (Солженицын) писал о русском народе, его нельзя пускать в СССР даже для того, чтобы расстрелять" (обр. пер. с англ.). Как источник он упоминает книгу Яковлева. "Не спешите меня зачислять в сталинисты", предупреждает читателей Золотов, однако на самом деле ясно, что он и есть неосталинист.

Ещё один обвинитель Солженицына, И. Крюков, восклицает: "Пусть он остаётся там, где ему щедро платят его покровители из ЦРУ" (обр. пер. с англ.). В. Мороко, доцент на факультете Истории КПСС в Запорожье, тоже называет Солженицына агентом ЦРУ, ссылаясь в доказательство на книгу Яковлева.

Раз уж зашла речь о хулителях Солженицына, давайте воспользуемся советом историка Н. Я. Эдельмана и назовём имена

тех, кто особенно отличился на поприще борьбы против реабилитации Солженицына. Среди них следует назвать Георгия Анджапаридзе, директора издательства "Художественная литература", заявившего западному журналисту в начале 1988 года, что он бы и не подумал издавать Солженицына. "Титлера я бы тоже не стал печатать, – сказал он редактору "Уолл Стрит Джорнел" Рэймонду Соколову. – Солженицын – это Хомейни. Он – враг. Такая свобода мне не нужна".

Столь же отрицательный взгляд высказал первый секретарь Союза писателей Владимир Карпов в беседе с корреспондентом "Лос-Анджелес Таймс". "Если кто-то хочет вернуться и принимать участие в нашем процессе реформ, добро пожаловать. Но если человек врал без зазрения совести и клеветал на нашу страну из-за границы, а потом хочет приехать и тем же самым заниматься отсюда, то у нас ему места нет." Солженицын, по его словам, должен "покаяться", прежде чем ему разрешат вернуться на родину.

Храбрый еженедельник "Книжное обозрение" не только послужил форумом для сторонников реабилитации Солженицына, но и сумел протолкнуть в печать образец его прозы. В номере за 19 августа появилось интервью с поэтом Анатолием Жигулиным, бывшим узником концлагерей, вспоминавшим, что в 1964 году он послал некоторые свои стихи Солженицыну, спрашивая его мнения, и получил в ответ два письма – от 10 января и 20 апреля 1965 года. В интервью были включены пространные отрывки из писем. В этих письмах Солженицын предстаёт в положительном свете: он пронизательно и с любовью судит о литературе и проявляет заботливое внимание к литературной судьбе бывшего собрата по лагерям.

Одновременно с кампанией, которую вело "Книжное обозрение", группа ведущих представителей советской интеллигенции предприняла попытку вовлечь Солженицына в работу недавно образованной организации "Мемориал". Цель "Мемориала" – увековечить память жертв советского массового террора. Два издания – "Огонёк" и "Литературная газета" – задали своим читателям вопрос: кто должен войти в этот комитет? По результатам опросов выбрано было имя Солженицына, равно как и имена таких либералов и реформаторов, как академик Сахаров, Е.Евтушенко, академик Д. Лихачёв и бывший первый секретарь московского горкома партии Борис Ельцин.

23 августа "консультативный комитет по надзору за созданием мемориального комплекса памяти жертв беззакония и репрессий" направил Солженицыну телеграмму с сообщением о результатах опросов, проведенных "Огоньком" и "Литературной газетой", и приглашением войти в состав новой организации. Телеграмма так и не была доставлена по назначению. Её вернули отправителям с припиской по-русски – но латинскими буквами – что адресата не удалось найти. По словам члена комитета Александра Вайсберга, в телеграмме был указан город, штат и почтовый ящик адресата. Было совершенно ясно, что телеграмму перехватили власти. Когда об этой акции сообщила "Нью-Йорк Таймс", Советский Союз оказался в нелепом положении.

5 сентября по тому же адресу была отправлена вторая телеграмма. На сей раз Солженицын её получил. В ответной телеграмме он благодарил "за оказанную честь" избравших его в комитет, а затем писал: "Памяти погибших с 1918 по 1956 год я посвятил "Архипелаг ГУЛаг", наградой за который было обвинение в измене родине. Этот факт обойти невозможно. Более того, поскольку я нахожусь за пределами страны, нет возможности по-настоящему участвовать в её гражданской жизни." И подпись: "С сердечным приветом, Александр Солженицын" (обр. пер. с англ.).

Таким образом, Солженицын недвусмысленно дал понять, что разделяет позицию Елены Чуковской: он не может принимать участие в делах Советского Союза, пока с него не снято обвинение в измене родине. Заявляя, что "Архипелаг ГУЛаг" охватывает период с 1918 по 1956 год, он также подчеркнул своё убеждение, что советский массовый террор начался задолго до захвата власти Сталиным.

Руководители нового комитета "Мемориал" – Алесь Адамович, Евгений Евтушенко, Юрий Карякин и Андрей Сахаров – откликнулись телеграммой, полученной Солженицыным 24 сентября. Они выражали сожаление, что он лишён возможности принять участие в их работе, и заверяли его: "На Вашей родине у Вас много читателей, которые высоко ценят Ваш вклад в русскую литературу" (обр. пер. с англ.).

В середине августа Госкомитет по печати, книгоиздательству и книготорговле публично заявил, что все произведения Солженицына. Ранее опубликованные в СССР – например, "Один день Ивана Денисовича" – могут переиздаваться без особого

разрешения. Сообщалось, что вопрос появления в печати других произведений писателя ещё не решён.

7 сентября редколлегия "Нового мира" официально приняла историческое решение: опубликовать романы Солженицына "В круге первом" и "Раковый корпус", а также избранные главы из "Архипелага ГУЛаг". Затем редакция журнала связалась с Солженицыным и получила его разрешение на публикацию. Однако Солженицын поставил условием, чтобы в первую очередь появились главы из "ГУЛага", отобранные им самим. На это редакторы согласились. Первая глава из "Архипелага" должна была выйти в номере за январь 1989 года.

В том же месяце ещё один журнал – "Советский Киргизстан" – тоже решил напечатать избранные главы из "ГУЛага". 20 сентября редколлегия отправила письмо экспресс-почтой на адрес Солженицына в Вермонте, прося его разрешения на публикацию. Этого письма Солженицын так и не получил. Следует предположить, что здесь опять вмешались власти.

4 октября Союз советских кинематографистов – самое радикальное из творческих объединений СССР – объявил о том, что подал заявление в Президиум Верховного Совета с просьбой "пересмотреть законность депортации Александра Солженицына в 1974 году". Видный адвокат и автор статей на юридические темы Аркадий Ваксберг сообщил, что это прошение было первой акцией новой комиссии, созданной Союзом кинематографистов для защиты людей, осуществляющих свои "профессиональные права и личные свободы". По его словам, комиссия, в которую входит сотня ведущих работников кинематографа, ходатайствует о пересмотре дела Солженицына по причине его "огромной роли" в разоблачении зол сталинской эры. Ваксберг сказал также, что авторы петиции просят ответа от Президиума к 11 декабря, когда Солженицыну исполняется 70 лет. (Следует отметить, что прошение было подано сразу же после того, как М. С. Горбачёв стал председателем Президиума.)

Пока разворачивались все эти события, редакция "Нового мира" продолжала готовиться к публикации отрывков из "Архипелага ГУЛаг" в номере за январь 1989 года. Кроме того, было решено напечатать "Нобелевскую лекцию" Солженицына в 12-м номере журнала за 1988 год. Октябрьский номер "Нового мира" тиражом в 1.150.000 экземпляров с анонсом о предстоящей публикации трудов Солженицына был напечатан и переплетён.

Несколько экземпляров свежего номера были отправлены по почте в район Киева. Затем в середине октября телефонным звонком "сверху" был неожиданно отдан приказ вырвать страницу с анонсом и вставить другой лист. В последний момент власти вмешались и предотвратили реабилитацию Солженицына и его возврат в советскую литературу.

Что же произошло? Хорошо осведомлённый деятель советской культуры рассказал мне, что некий "партийный аппаратчик" добрался до Горбачёва и уговорил его прочесть антиленинские страницы из "Архипелага ГУЛаг". (Кстати, эти места не входили в три главы, отобранные Солженицыным для публикации в "Новом мире".) Затем был сделан звонок — либо самим Горбачёвым, либо по его приказу.

Детальное сообщение об этом эпизоде появилось в сам-издатском журнале "Референдум", который издаётся диссидентом Львом Тимофеевым и пользуется репутацией надёжного источника. По сообщению "Референдума", провал планов публикации Солженицына был тяжёлым ударом для Залыгина. 75-летний прозаик "упрямо" обходил членов Политбюро, пытаясь добиться пересмотра решения. (То, что они соглашались его принять, свидетельствует о высоком общественном положении Залыгина.) Есть сведения, что во время этих посещений Залыгин подвергался "грубому обращению и угрозам выгнать его с должности" (обр. пер. с англ.).

Особенно тяжёлым испытанием для Залыгина, по-видимому, была встреча с самим Горбачёвым. Согласно статье в "Референдуме", "вождь перестройки по-хрущёвски топал ногами и называл на "ты" 75-летнего прозаика, вступившего в неравный бой за интересы и честь русской литературы" (обр. пер. с англ.). Горбачёв язвительно сообщил Залыгину, что не может простить Солженицыну его взглядов на Ленина — основателя советского государства.

По сведениям из хорошо осведомлённого источника, в начале ноября Политбюро официально вынесло решение (хотя, очевидно, и не обнародованное) вновь предать Солженицына забвению. Его книги не будут печататься; по некоторым признакам похоже, что запрещено даже упоминать имя Солженицына в советской печати. (Последний раз, насколько мне известно, он упоминался в интервью с историком Роем Медведевым, вышедшем в "Книжном обозрении" за 28 октября.)

Таким образом, в последний момент была разгромлена кампания, которую почти единогласно поддерживала советская интеллигенция. Этот разгром представляет собой первый существенный "заморожок" в период горбачёвской оттепели. Объединенная попытка интеллигенции расширить границы гласности была раздавлена велением партии. Этот разгром в конечном счёте может дорого обойтись Горбачёву, ослабив симпатии к нему в среде, до сир пор наиболее горячо его поддерживавшей. Стоит вспомнить, что хрущёвские "метания", когда он периодически становился на сторону партийных консерваторов против реформаторов, отчасти подготовили почву для его смещения в 1964 году.

Весь эпизод неудавшейся реабилитации Солженицына заставляет усомниться в том, что горбачёвское руководство принимает всерьёз идеи демократизации и реформ. Тайные постановления Политбюро, топанье ногами, хамство, перехват почты – всё это неприятно напоминает брежневский "период застоя", якобы оставленный позади. Двадцать один год назад телефонным звонком "сверху" редакции "Нового мира" приказали разбросать типографский набор романа Солженицына "Раковый корпус". В 1988 году другим таким звонком "сверху" приказали удалить из "Нового мира" страницу с анонсом публикации избранных глав из "Архипелага ГУЛаг". Спрашивается: многое ли изменилось?

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

**СТИЛЬ И ИСТОРИОСОФИЯ  
"КРАСНОГО КОЛЕСА"  
А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА**

...Вышедшие к марту 1988 г. семь томов исторической эпопеи Александра Солженицына "Красное колесо" – классический пример непонимания современниками масштаба рождающегося прямо на их глазах творческого литературного феномена. В своё время – первые отзывы на "Войну и мир" скорее походили на хулиганские. Но "Красное колесо" и тут побило рекорды в амплитуде не желания его принимать: от нарочитого молчания – до издевательств и ругани, доставляющих хулителям едва ль не... физическое наслаждение. При этом – и те и другие и впрямь уверены в своей "безнаказанности" перед судом потомков: уверены, что "Красное колесо" – грандиозная неудача. Обвинения самые разные: Солженицын антисемит, антидемократ, монархист, просто, наконец, графоман... Таким образом, ситуация складывается беспрецедентная: "властитель дум 60-70 гг." А. И. Солженицын теряет в читательском сознании современников авторитет с катастрофической, прежде в истории литературы всё

же не встречавшейся, быстротой. И тут повинны отнюдь не только спекуляции недобросовестных и корыстных критиков, ситуация драматичнее. Мнится, что Солженицын разошёлся с современниками в своей... как теперь принято говорить *ментальности* его сознание — как бы в другой эпохе.

"Судьба писателя, — точно замечает крупнейший современный литературовед Лидия Яковлевна Гинзбург, — во многом зависит от соотношения его творческого временного ритма с ритмом исторического сознания читателей. Настоящий писатель всегда современен, но он может быть современен в очень разных ритмических категориях. Он бывает злободневным, бывает сезонным, он может уловить общественное настроение протяженностью в два — три года, может выразить поколение и может поднять проблему века /.../. Чем шире исторический охват, тем меньше возможностей, что произведение окажется сразу же актуальным, ибо временные ритмы не совпадут /.../. Гений, больше чем кто бы то ни было, работает на современность, но на современность другого масштаба. Сверстники же его (особенно второстепенные писатели) застывают на позициях своей молодости. Великого сверстника, идущего дальше, они перестают понимать. Они считают, что он испортился, что он не то делает /.../. Большой писатель, — продолжает Гинзбург, — учит людей по-новому понимать самих себя и действительность. Но не всех людей и не при всех обстоятельствах можно этому научить. Нельзя заставить по-новому увидеть мир, людей с застывшим мироощущением, нельзя научить людей, если они сопротивляются, полемизируют, не доверяют или воспринимают под заведомым углом зрения".

... По мере постижения исторического материала творческое сознание Солженицына преобразалось, сознание же современников накатанным путём консервировалось. Отсюда и оглушительный диссонанс, тем более, повторяю, драматичный, что "Красное колесо" не просто очередной не понимаемый современниками литературный шедевр, но книга, рассчитанная на прояснение исторического сознания, без которого невозможно возрождение родины.

Помнится, сразу после выхода в свет первоначальной редакции "Августа Чегырнадцатого", в 1972 году Надежда Мандельштам сказала мне, что не верит в удачу солженицынского замысла, так как у него "отсутствует историческая концепция". Но это замечание Мандельштам я рассматриваю с обратным, сугубо поло-

жительным знаком: Солженицын принялся за работу без априорной концепции, которая вырабатывалась именно в процессе творчества и изучения материала, и вот мы, читатели, словно присутствуем при рождении исторической истины, а не иллюстрирующего доказательства какого-то заведомого догмата или умозрительной концепции. Так – и вернее и интереснее: поток истории не схематизируется, но развивается на наших глазах. Если "Архипелаг ГУЛаг" написан грозным общественным обвинителем, то в "Красном колесе" Солженицын выступил по отношению к истории в роли "частного детектива", который на наших глазах распутывает клубок исторического катаклизма и безжалостно устанавливает степень вины того или иного действовавшего исторического лица, казалось бы, навсегда ушедшего в небытие от суда истории.

"Вник я в Февральскую революцию, – сказал Солженицын в интервью Би-Би-Си в 1979 году, – и всё мне переосветилось. Я-то рвался к Октябрьской, Февраль казался только по дороге – а тут я понял, что несчастный опыт Февраля, его осознание – это и есть самое нужное сейчас нашему народу. Именно опыта Февраля мы не поняли, забыли и во внимание не принимаем..." Солженицын бьет по мифу бескровного демократического Февраля, который создали обанкротившиеся его лидеры в эмиграции (тем более, что миф этот как нельзя лучше отвечал многим параметрам западного сознания): "Если вникнуть в повседневное течение февральских дней, в каждую мелочь и во всю реальную обстановку, то сразу становится ясно: никуда, кроме анархии, она не шла /.../ Либерально-социалистические тогдашние правители промотали Россию в полгода до полного упадка /.../ Это были те самые либеральные деятели, которые годами кричали, что они доверенные люди России, и несравненно умны, и все знают, как вести Россию, и конечно будут лучше царских министров, – а оказались паноптикумом безвольных бездарностей и быстро всё спустили к большевистскому концу".

"Опыт художественного исследования" – этот подзаголовок к "ГУЛагу" применим и к "Красному колесу".

"Красное колесо" – многотысячестраничное, отнюдь не легкое чтение, несмотря на множество крупиц великолепного юмора; впрочем – чтение отнюдь и не более сложное, чем, скажем, эпические массивы Музиля или Пруста. И секрет, почему интелли-

гентско-эмигрантское сознание отталкивается от "Красного колеса", думается, в другом.

Солженицын безжалостно препарирует освободительный, повторяю, миф, легенду, возвращая сущностную историческую реальность, потому-то и столь болезненны и раздражительны реакции тех, кто живёт мифом, кто эксплуатирует миф: миф не метафизический, а идеологический, новый, гуманистический, уходящий корнями ещё в умонастроение XIX столетия – в материалистический рационализм и радикальный идеализм, возникшие на почве просветительской секуляризации человеческого мышления.

Это пророчески показано в "Бесах" у Достоевского: идеалист 40-х годов порождает нигилиста и радикала, а итог – щигалевщина. Если угодно, "Бесы" есть формула того, едва ли не детерминированного развития, которое – на реальном и потому вдвойне жутком конкретном историческом материале – исследует теперь Солженицын. И тут писатель задевает, пожалуй, наиболее болезненный нерв общепринятой социальной схемы, из интеллигентских святцев прошлого благополучно перекочевавший в советскую идеологию, а оттуда – в умы наших современников, схемы, по которой Освободительное движение является главной позитивной силой недавней нашей истории. ... Именно освободительская идеология, вернее, её носители легитимизировали вспыхнувший в Петрограде преступный военный бунт и как бы "срежиссировали" его в революцию. Именно они вытребовали себе власть, именно они – сходу потеряли её под напором левого экстремизма...

... Немало написано, например, на Западе о тех положительных реформах и законах, что якобы проводило Временное правительство, продукт левого либерализма в России. Но как бы не расценивать их, так сказать, абстрактное качество – они сравнимы скорее с опытами селекционера, разбившего своё экспериментальное хозяйство на кромке кратера Этны: стихия не подчиняется умозрению.

Как известно, Солженицын строит повествование "Красного колеса" по принципу выбора сжатых исторических отрезков, кажущихся ему в важной степени судьбоносными и определяющими, при этом делая ретроспективные вкрапления, необходимые для объёмного и исчерпывающего освещения того или иного персонажа или явления в целом. Таким образом, хотя формально

"Красное колесо" открывается "Августом Четырнадцатого", в военной трагедии которого, по мнению Солженицына, как в зерне, заложена грядущая катастрофа России, — на деле мы имеем более стереоскопическую картину России ещё со времён террористов при Александре II и зарождения земства.

Общая "музыка", музыкальная композиция "Колеса" покуда до конца не ясна, полностью мы расслышим её, лишь когда выйдут оставшиеся три тома: но уже сейчас чётко различимо — как военный драматизм и мирные импрессионистические картины "Августа Четырнадцатого" сменяются тревожным затишьем "Октября Шестнадцатого", столь остро необходимым нашему уху перед симфонической и энергичной динамикой "Марта Семнадцатого", читающегося с интересом приключенческого романа и держащего читателя в неослабевающем напряжении.

"Предупреждающие" музыкальные удары — то тут, то там — различимы ещё и в "Августе" и в "Октябре", иногда обрисовка "звукового сопровождения" дается и впрямь через фонетику и определение звука, как например, в несравненно магической и страшной восьмой главе "Августа Четырнадцатого", в первоначальное издание не вошедшей. В содержании (а краткое содержание каждой главы — в конце томов — несёт свою смысловую и художественную нагрузку) — один из фрагментов этой главки назван "Эманации анархизма". В скобяной лавке под удары молотком по железу анархист приговаривает: "Всех подлецов стрелять по одному! /.../ Наели шеи жирные в крахмальных воротниках. А собачку нажмешь — мясная туша. /.../ А попам долговолосым — расчесать гривы, за гривы вешать". Вот они — покуда рассеянные — атомы грядущей революционной России.

Музыка "Красного колеса" — в самом размере глав, периодов, предложений... Чем длинее и "разговорчивей" главы и речь "Октября Шестнадцатого", тем сильнее эффект коротких с постоянно меняющейся экспозицией главок "Марта Семнадцатого", построенного по принципу *сот*, ячеек, каждая из которых и естественно ярко взаимодействует с окружающими и воздействует автономно — посредством новеллистической законченности, имея разряжение не только кульминационное, но порою и "просто" стилистическое, словесное. Эта, всё убыстряющаяся мозаика и составляет симфоническое единство "Марта" — не в ущерб общей стержневой капитальности композиции...

Полифония "Красного колеса", однако, не только в речевых и

композиционных приёмах и множественности жанровых решений: она, естественно, в самой концепции роковых событий – беспощадно высвечивая убожество, а порою и inferнальность противогосударственных сил России, Солженицын отнюдь не стилизует противоположную сторону. "Красное колесо" – приговор бюрократическому и аристократическому правлению Николая II, царя-праведника, не способного, однако, вдохнуть жизнь в правящий аппарат. Как ни больно нашему патристическому чувству, но правда дороже: имперский режим оказался по сути *декорумом*, обвалившимся от первой же встряски.

Ещё в "Августе Четырнадцатого" Солженицын писал: "Как же могли *они* не проиграть Россию? Все их служебные помыслы были – напряженное слежение за системой перемещений, возвышений и наград. Разве это не паралич власти? То-то: как почти ни одного крупного генерала, начинавшего войну 1914 года, мы не встречаем потом в Белом движении, так ни один из этих полицейских зубров, любимчиков Двора и старцев Совета не промелькнёт на защите трона, когда он станет падать: все притаятся или рассеются. Они от Седьмого года и до Семнадцатого не несли сознания полной опасности, наступила революция – они не имели присутствия духа даже для самозащиты.

А в третьем томе "Марта Семнадцатого" Ольга Андозерская с горечью размышляет:

"Да, но – где же та опора трона? У нашего государственного строя не проявилось ни исполнителей, ни друзей. Поразительно, не находится чиновника, который бы громко заявил, что по своим убеждениям он не может теперь оставаться на службе. Наоборот, все стараются уверить, что они всегда только и мечтали о низвержении старого строя. Кто недавно превозносил царя, теперь обливает его грязью. Нет такого ослиного копыта, которое бы не спешило лягнуть, перед чем недавно пресмыкалось.

Но больше: где та преславная аристократия, ликовавшая по простору Руси три века? – те "наперстники разврата" (как теперь подмахивали журналисты)? Аристократию, лицо которой три столетия и выражало собою лицо России, – смело в один день, как не было её никогда. Ни одно из этих имён – Гагариных, Долгоруких, Оболенских, Лопухиных – за эту роковую неделю не промелькнуло в благородном смысле, – ни единый человек из целого сословия, так обласканного, так награждённого! А ведь мечтают о "волшебном избавлении". Но никто ничего не пытается делать.

Многие из аристократов и гвардейских старших офицеров – надели красные банты!

И – где епископы? Церковь – где?

Но ещё хуже многих – сами члены династии: позорно спешили выдавать корреспондентам узнанное в интимных разговорах, особенно Кирилл Владимирович со своей Викторией. Да и хлопотун Николай Михайлович. И дутый рыцарь Николай Николаевич, не ведающий, как он повторяет другого дядю другого короля – Филиппа Эгалите, голосовавшего за казнь племянника, но не спасённого тем от гильотины.

В эти дни французская революция владела умами общества в мифическом плане. Но всё же французская монархия сопротивлялась 3 года, а наша – всего 3 дня. Да как же всё могло развалиться уж настолько, настолько быстро?! Когда умирал старый строй во Франции – находились люди, открыто шедшие за него на эшефот. Там были свои легенды, свои рыцари, Лавуазье, Анри Шенье.

Да и сам Государь! – из первых явил пример полного и мгновенного отступления. Как же мог он – как же смел отказаться от помазанья? (Вспомилась кислая усмешка Георгия – в чём-то он был и прав?..) Государь-то – первый и признал это теперешнее правительство."

...Главком Юго-Западного фронта генерал Брусилов – станет в будущем крупной фигурой в Красной армии, но уже и раньше – преданный Отечеству генерал Гурко знал ему цену: "Только что разбуженный генерал Гурко не нёс никаких следов сна, сразу готовый к действию – и кинул меткий взгляд на ленты телеграфа, не ожидая от этих петель добра. /.../ Один манифест... Другой манифест. Гурко шёл глазами по ленте и даже его напряженное нервное лицо отдавалось изумлению. Так надо было понять: кончилась династия? Кончилась и монархия в России? Закинул голову, зажмурился /.../ Ни в каком бою нельзя так пасть. Иметь полную силу, все гвардейские корпуса и ещё сверх негвардейские – и ничего не мог сделать. И сейчас все возможности его были – переговариваться через Брусилова. А это всё равно, что, закатив рукава для драки, начать по локоть месить говно".

Другой персонаж "Красного колеса", тоже, кстати, как и Анлозерская, убеждённый монархист, генерал Свечин думает: "Что такое с военной точки зрения был весь взбунтовавшийся Петроград? Хаотичная голодная невооружённая масса, да ещё в самом

невыгодном географически зажатом положении. Мятежные запасные батальоны были рыхлым сборищем необученных полусолдат, имеющих не более полувинтовки на четверых, и то не знающих, с какой стороны её заряжать. Действующая армия имела над Петроградом не то что превосходство, а – несравнимость. Глубоко покойное состояние фронта позволяло немедленно снять с него хоть полмиллиона солдат, но даже и тридцати тысяч было бы избыточно много.

И при всём этом Верховное Главнокомандование помышляло только об отступлении и сдаче. Это был паноптикум слабых и неспособных людей – что в Петрограде, что в Могилёве. Давно вереницею тянулась перед глазами выдающаяся бездарность и безликость всех назначений – и вот проступила враз параличом. Это не могло быть только промахами человекознания у Государя: даже действуя совсем вслепую, он по теории вероятностей иногда должен был ошибаться и назначать всё-таки достойных. Надо было невиданно изошряться, чтобы во главе правительства поставить развалину, военным министром – генерала в футляре, внутренних дел – прохвоста, командующим округом – чурбана и послать диктатором – оглядчивого труса.”

Проработав, очевидно, исчерпывающе исторический материал и прекрасно понимая ту роковую роль, что сыграла в падении России леволиберальная идеология, социалисты и другие партии, Солженицын, тем не менее, на вопрос профессора Струве: "Кто виноват в случившейся катастрофе?" – ответил: "Конечно, виноваты все, включая простой народ, который легко поддался на эту дешёвую заразу, на дешёвый обман, и кинулся грабить, убивать, кинулся в эту кровавую пляску. Но всё-таки больше всех виноваты, конечно, правящие, потому что на них лежит историческая ответственность, они вели страну, и если они даже лично виноваты не больше других, то – как правящие – всё-таки виноваты больше. У императора и царицы не было злых намерений, но не было и полного сознания ответственности, не было личной адекватности – той ответственности, которая на них лежала”.

...И на крайних полюсах исторической полифонической амплитуды – два образа, выписанных столь выпукло и объёмно, что составляют как бы "роман в романе" и способны формообразовать отдельные книги – образы императора Николая II и Владимира Ленина. "Абсолютный верх – абсолютный низ", но вот в процессе катаклизма им предстоит с головокружительной

быстротой поменяться местами. Интонационный спектр, обрисовывающий эти образы, и сам по себе несравненно полифоничен: в отношении Николая — это и суд, и лирика, и тепло, и ирония, и горькая насмешка, и сердце рвущая жалость — с того момента, как царь отрёкся и вступил на путь крестный, ведущий к чудовищному екатеринбургскому злодеянию.

Ленин — идеологический фанатик, марионетка догмы, способная развивать бешеные энергии для борьбы с оппонентом, конкурентом, инакомыслящим. Вдохновение приходит, когда надо уничтожить противника. Это — механизм по выработке умозрительной тактики, государь — медлителен, Ленин — неутомим, в криминальной ситуации естественно побеждает наибыстрейший.

Я, кажется, уже говорил, что "Красное колесо" построено на постоянном перемежении смысловых, психологических, жанровых, синтаксических и языковых оттенков. Патетика, аналитическая документалистика, романый язык, перекрёстные углы зрения, резкая смена видовых точек, ритмизированная проза, чёрный юмор, сарказм, ирония.

Перетекание исторической хроники в... уголовную, "экзистенциальные" монологи не только основных, но и... синильных, поданных, повторяю, с чёрным юмором персонажей — создают атмосферу, которая подчас, наряду с идейной сутью — роднит Солженицына с Достоевским.

Языковые пласты "Колеса" тоже не исчерпаемы, хотя и прослеживается определенная, мне лично очень импонирующая тенденция — от тома к тому — ко всё более светлой и прозрачной фактуре, пушкинской лапидарности от — быть может, и чрезмерного прежде увлечения Далем и языковой "этнографией". Однако эта лапидарная ясность сгущается порою в образы, свидетельствующие, что перед нами проза новейшая, какой ещё не бывало. Когда по Думе перебегают Круглый зал "невесомый бегун" Керенский и "лысый селезень" Чхеидзе, когда сжимается в кресле военный министр, "чёрная совка" Беляев, когда по Невскому идёт навстречу "интеллигентная и вполне либеральная пара — пингвин и гагара" — мы видим тут зрительную и психологическую концентрацию, какая прозе прошлого была недоступна. Но и самая, казалось бы, лапидарная безыскусность документальных фрагментов — естественно, только кажущаяся: текст организован мастерски, тут простота того качества, которую Пастернак называл "неслыханной".

Словесно – Солженицын то раздвигает периоды, не скупясь на придаточные и объяснительные, то сжимает фразу, до предела локализуя повествовательность. Перемежение диастол и систол текста сорганизовано так, что "музыка революции" словно идёт от самого словесно-фразеологического потока – едва ли не "автономно" от событийности, в pendant к ней...

Солженицын приводит образчики якобы свободной пост-революционной прессы, и эта "музыка революции", столь властно захватившая даже и лучшие умы того времени – выглядит на историческом расстоянии отвратительной...

Вот некоторые примеры, – в петербургских газетах от 4 марта:

"Родина воскресает! О, великий народ! Пришёл миг – и ты восстал, великий, могучий и прекрасный. Восстал как гигант – и цепи оказались паутиной, /.../ Семья Романовых – род деспотов и дегенератов. Мы должны смести этот мусор до основания. Только тогда мы будем утешены, этот миг заплатит нам за всё".

4 марта: "Когда арестованных полицейских вели по московским улицам, революционная толпа еле сдерживала себя: "Убейте их! Разорвите их на куски!" Городовые повсюду стали предметом самого злого и вполне понятного издевательства". – Русские газеты словно шеголяют друг перед другом своей революционностью: 5 марта – "В тюрьму, к ответу величайшего преступника, атамана разбойничьей шайки Николая Романова" – это, правда, "Известия" – орган социалистов. Но, кажется, именно в те дни закладывается роковая обречённость царской семьи, всей императорской фамилии, включая детей и женщин. Неслучайно в одной из глав – 6 марта 17-го Солженицын заставляет императрицу Александру Федоровну пристально всматриваться в портрет Марии Антуанетты, обезглавленной во французскую революцию королевы.

В царскосельской спальне императрицы "было много икон, на всех стенах, – и горело несколько лампад.

Искала между ними успокоение.

Настолько не спалось, что вышла в кабинет – и, при верхнем свете, в глубокой ночной тишине, остановилась перед портретом Марии Антуанетты над своим столом. Откинув голову на заплетённые ладони – соединилась взглядом с ней и стояла недвижно.

С этим портретом, подарённым ей во Франции 7 лет назад,

когда они с Государем посетили апартаменты Антуанетты и Людовика XVI, – государиня с первого мига почувствовала какую-то магическую связь. Ещё с детства судьба этой королевы выступала для неё из судеб других королев. Вся французская революция, с детства учёная как концентрация бесчеловечного зверства, ещё не имела никакого отношения к России, – а Александра воспринимала Антуанетту как свою затаённую сестру. В чём не обогнанная? даже в распутстве и краже, – вся ложь, вся ненависть, вся месть так густо прилились на эту гордую женскую голову, – какое благородное сердце не забьётся в бессилии, что уже нельзя облегчить её участь?

С тех пор постоянно висел здесь этот портрет. Но только в самые последние дни Александра прозрела, что связь их – более роковая: что положение их – сходно.

Любимый Богородицын образ она положила на ночь под подушку.

Забывшись уже на рассвете."

Газеты не брезговали любыми, самыми абсурдными сплетнями: "Как установлено, в первые дни революции полицейские стреляли в народ разрывными пулями... И получали 100 рублей в сутки на человека". "В 2 часа ночи городовые из-за ограды Александровского сада из пулемётов расстреливали народ вдоль Невского. А чтоб их не было видно – надели белые балахоны". "Уж как Романовы ласкали полицию, какие щедрые подарки сулили ей за расстрел народа! – по 800 рублей за всю работу, а потом сказал пристав: по 200 рублей в час".

И такую дешёвку не стыдились писать якобы просвещённые столичные журналисты – и после того, как Николай II (именно, как он считал, чтобы избежать кровопролития и междуусобной бойни) – отрёкся от престола – и за себя и за царевича Алексея практически добровольно. Прощальное же обращение государя к армии было к обнародованию повсеместно запрещено – вот тебе и свобода.

О "революционном" же, так сказать, насилии газеты писали в иных тонах: "Вставшие на сторону народа казаки налетели как соколы ясные, приставу отрубили голову, а полицейский отряд отчасти порубили шашками, отчасти обратили в бегство". Вот она и по сей день та же, и посегодняя актуальная лево-либеральная схема: убийство для дела революции – подвиг, то же для "реакции" – преступление.

"Пока не стали выходить газеты, – свидетельствует выше уже упоминавшаяся героиня "Красного колеса" Андозерская, – была оскалена только дикая морда революции: на крыльях нарядных автомобилей и внутри них мурлы, и наведенные на всех встречные дула, с прицелом по невидимому врагу. А из газет – полезла пошлость /.../. Поскольку революция была сразу же объявлена великой, бескровной, солнечной, улыбающейся, – то трупы офицеров и растерзанных городских надлежало замалчивать во имя идолов свободы. Так много цвелось красного повсюду, что кровь убитых не была видна. /.../ Ложь стала принципом газет с первых же дней их безудержной свободы /.../. Теперь-то, после революции, люди более всего и забоялись отличаться от остальных, восторгаться революцией меньше, чем соседи. Возникла боязнь не показаться достаточно радостным. Всех по России охватило холуйство приспособленчества к новым обстоятельствам. *Диктатура потока*".

Вот эту-то "диктатуру потока" – как левую, так и правую – Солженицын одинаково презирает; независимость личности, добровольно умеющей, однако, ограничить себя во имя Высшего – вот свойство всех наиболее значительных и ценимых автором персонажей "Красного колеса".

Именно таким – христианским качеством, верно, хотел бы наделить Солженицын и будущих граждан свободного от тоталитаризма Отечества. Это тот "высший тип", на который вообще уповает писатель в своих размышлениях о грядущем.

... И если есть у России будущее, то Солженицын – писатель этого будущего, ибо оно невозможно без знания и осмысления исторической *истины*. В этом смысле Солженицын не просто крупнейший русский прозаик послетолстовского времени, но и *целитель*, возвращающий нам её, верящий в становление Родины на промыслительные органические пути и уповающий, что принесенные жертвы всё-таки не напрасны.

Лев ЛОСЕВ

## СОЛЖЕНИЦЫНСКИЕ ЕВРЕИ

Говорить о Солженицыне надо, потому что не говорить о нем спокойнее, уютнее. Это уют интеллектуальной энтропии. Способом молчания о Солженицыне я считаю и клишированные реакции на него типа «Иван Денисович» и Гулаг — великие вещи, но исписался...», «Гулаг — замечательный документ, но в художественном отношении все остальное того...». На таком же интеллектуальном нуле, на мой взгляд, и приклеивание ярлыков, хоть ругательных, хоть апологетических: «реакционер», «монархист», «айятолла», «сим симыч», «антисемит», «новый Толстой», «гигант духовности», «пророк».

О Солженицыне написано много дельного, и не только русскими авторами, пожалуй даже, в первую очередь не русскими — книга нашего друга Жоржа Нива, очень спорная работа Даниэля Ранкур-Лафферье, огромная, крайне осторожная, но весьма полезная биография Скэмелла. Значительно раньше Лукач парадоксально оце-

нил Солженицына как первого настоящего соцреалиста по сути дела. Это было совершенно неправильно, но в подходе знаменитого марксистского критика было рациональное зерно: отношения с идеологизированной официальной литературой его времени очень важный фактор в творчестве Солженицына.

Поскольку я крайне ограничен временем, я начну с того, что изложу свой главный тезис, а затем, поневоле конспективно, проиллюстрирую его, хотя бы одним примером. Это явно недостаточно, но, я надеюсь, даст представление о возможном прочтении Солженицына.

В самом общем виде мой тезис таков: Солженицын сугубый новатор, которого упорно пытаются читать как архаиста. Не обращают внимание даже на то, что бросается в глаза. Сравнивают Солженицына с Толстым, с Достоевским, с Шолоховым, с деревенщиками, в то время как структура его романов нагляднейшим образом близка структуре романов Белого, Пильняка, Артема Веселого, так же, как язык его прозы выковывается в духе Замятина, Вс. Иванова и вообще «серапионов», Цветаевой. Иными словами, школа из которой вышел Солженицын как романист это школа русского модернизма (а если вспомнить Дос-Пассоса, французских унанимистов, воспринятых непосредственно или через их российских союзников, то можно говорить о модернистской почве в общемировом смысле).

Но Солженицын не модернист. В то время как многие и многие русские писатели и поколением помоложе Солженицына все еще пережевывают зады модернизма, Солженицына, вероятно первым из русских прозаиков, можно назвать постмодернистом, ибо, напитав свое творчество эстетическими достижениями модернизма, он философски обратил его против того, что составляло в модернизме святая святых, против мифа. Разумеется, и в прозе Солженицына есть мифопоэтический пласт, но весь ее скрытый мощный пафос направлен против регрессивной мифоло-

гической формы познания в жизни и в искусстве, против инфантильного сведения современных трагических проблем к нескольким мифологемам, против ритуально-магического понимания искусства.

В этом особая актуальность, и политическая, и эстетическая, и в плане философии человека, его последних романов. Поэтому они шокируют, скандализируют, вызывают гнев у многих. А многие, действительно, не в состоянии его читать — слишком уже некомфортабельно чувствует себя читатель в литературном мире Солженицына, нет привычных занавесок, ширмочек, приглушающих и подкрашивающих свет абажуров. Уюта здесь, как в операционной, и свет яркий и резкий.

Солженицын опубликовал уже более двух с половиной тысяч страниц своего эпического повествования «Красное колесо»: «Узел 1» — «Август 1914», «Узел 2» — «Октябрь 1916» и половину «Узла 3» — «Март 1917». Точные планы всего беспрецедентного в истории мировой литературы сочинения неизвестны, но я полагаю, что уже перевалило за середину. Солженицын определяет жанр «Красного колеса» как «повествование в отмеренных сроках». В этом определении очевидно историософское наполнение — история рассматривается провиденциально, и автор берется запечатлеть ее «минуты роковые», узловые моменты. В то же время, это и деловой, артистический подход. В конце концов, всякий жанр определяется тем, как художник строит свое произведение, т.е. структурой. На языке музыкальной композиции «повествование в отмеренных сроках» звучало бы как «хорошо темперированное повествование». Солженицын артистически темперирует историю свою: повествовательное время то сжимается, то растягивается, то дается дискретно — в фрагментах. Все это подчинено какому-то общему, пока еще одному автору ясному гармоническому замыслу. Впрочем, отдельные романы повествования, а пока мы имеем только два законченных, «Август» и «Октябрь», как части симфонии, имеют свою вполне прочитываемую временную композицию, свою структуру.

Например, «Август» развивается как своего рода временная спираль: «настоящее время» уступает «прошедшему времени», т.е. делается отступление в более ранний период, оттуда в еще более ранний, «плюсквамперфект», затем симметрически мы возвращаемся через «прошедшее время» в «настоящее», в 1914 год.

В «Августе» масса событий: сражения, гибели, чудесные спасения, убийства, случайные встречи, насилия. По контрасту, темп «Октября» замедлен. Это роман без действия, стагнации: войска гниют в окопах, политические деятели в России и в эмиграции тянут свои нескончаемые дискуссии, персонажи, которые сражались, трудились, добивались справедливости в «Августе», в «Октябре» обедают или занимаются любовью на несколько глав кряду. Вообще организующим принципом «Октября» является скорее пространство, чем время: события происходят одновременно и параллельно (или контрастно) в Петрограде и в Москве, на театре военных действий и в российской глубинке.

Солженицын называет эти романы «узлами» и узлы эти завязаны искусной писательской рукой. Бесчисленные человеческие судьбы переплетены здесь таким роковым образом, что с каждым узлом остается меньше надежды на то, что удастся распутать, выпрямить, обратить вспять роковой ход русской истории.

«Август» и «Октябрь», романы столь разные по тону, по темпу, параллельны в том, что оба являются витками роковой, закручивающейся в бездну исторической спирали. Но есть у этих по-разному построенных романов и важное композиционное сходство — как две фигуры в калейдоскопе могут быть совершенно непохожи по рисунку и окраске, но одинаковы своей строгой симметричностью, так и эти два романа строго симметричны, хотя и каждый по-своему: точно в середину каждого из них Солженицын помещает исторический эпизод, который, с его точки зрения, является критическим моментом в цепи событий. Таковым

центральным эпизодом в «Августе» является убийство премьер-министра Петра Столыпина, а в «Октябре» установление контакта между Лениным и германским правительством.

Тут надо сразу же сказать, что ничего неортодоксального в том, что Солженицын выделяет именно эти два эпизода, приписывает именно им такое огромное значение, нет. Есть много разных подходов к русской истории начала века, но даже те историки, которые относятся скептически к такому прямо каузативному подходу (мол, из-за того, что случилось то-то, неизбежно должно было случиться то-то...), повторяю, даже скептики соглашаются, что эти события имели исключительное значение. А есть и весьма солидные историки, чья оценка этих эпизодов просто полностью совпадает с солженицынской. Например, Адам Улам (Гарвард) в своей книге «Неудавшиеся революции в России», изданной до начала публикации «Красного колеса», фактически строит гипотезы совершенно параллельные солженицынским: как бы могло пойти развитие России, не будь Столыпин убит. Экономика страны была бы перестроена, стала бы жизнеспособной, прогрессирующей, массы получили бы широкий доступ к образованию, что, в свою очередь, заложило бы основу крепкую основу, для демократических преобразований, Россия, оставшись в стороне от губительной мировой войны — в которой ей не за что было воевать — вышла бы после войны в первый ряд мировых держав как могучая, но не агрессивная держава, цитадель демократии, страна где расцветают и свободное предпринимательство и культура.

Не менее известное упражнение в историографии по принципу «вот если бы...» — что было бы не вернулся Ленин в апреле 1917 в Россию по билету в одну сторону, оплаченному немецким генштабом. Временное правительство выстояло бы... и т.д., и т.д. Иными словами историческая наука вполне санкционирует солженицынское узловатое видение российской истории: Сол-

женицын был прав делая убийство Столыпина и контакт Ленина с немцами ключевыми моментами в своей эпопее.

Как мы знаем, был тем не менее один аспект в этом выборе писателя, одно обстоятельство, которое не могло не спровоцировать полемическую бурю. Обстоятельство это состояло в том, что убийца Столыпина, Дмитрий Богров, и человек, который убедил Ленина принять предложение немцев, Александр-Израиль Парвус-Гельфанд, были евреи.

Как бы просторны и сложны не были романы Солженицына, тот факт, что два еврея оказывались ответственными за исторические преступления, в сознании определенного рода читателей неизбежно должен был кристаллизоваться в старую присказку: «В несчастьях России жида виноваты». И действительно, экстремисты всех мастей разгулялись на славу. Профессиональные защитники евреев ринулись обвинять Солженицына в антисемитизме тогда как подлинные юдофобы торжествовали.

Впрочем, торжествовать вполне могли они лишь до тех пор, пока не прочитали, что в действительности написал Солженицын на столь многих страницах. Те же, кто в конце концов прочел Солженицына вряд ли могли так уж торжествовать. Им не могло не понравиться, что евреи, Богров и Парвус, представлены как агенты зла, но... Дело в том, что джентльмены этого сорта обожают арифметику. Они вечно подсчитывают, сколько евреев в московском союзе писателей или в редколлегии «Нью-Йорк Таймс», сколько еврейских генов в таком-то и таком-то, и т.д. и т.п. В этом отношении романы «Красного колеса» сулили им немало разочарований. В «Августе 1914» изображался не только Богров, но и еврей Архангородский. Причем это не просто симпатичный второстепенный персонаж, а один из тех героев романа, с которыми автор связывает свои лучшие надежды на славное будущее России. Архангородский — д е я т е л ь, создатель, наряду с помещиком Томчаком и офицером Воротынцевым, т.е. человек столыпинской закалки, один из тех,

кто активно осуществляет столыпинские идеи по переустройству России.

В «Октябре» есть несколько персонажей евреев, в большинстве показанных как гордые, интеллигентные, сострадательные люди. Что важнее, там имеются прямые дискуссии по «еврейскому вопросу». Собственно роман почти начинается с такой дискуссии. Произведенный из унтеров прапорщик Терентий Чернега одобрительно отзывается о приказе по армии, запрещающем скопление евреев на нестроевых должностях: «— У-б-рать хаимов! (...) Так и липнут в нестроевые, как мухи к печке. Где лоб подставить — это не их!» Оппонентом Чернеги в споре выступает Саня Лаженицын. Тут не столь важно, какими именно аргументами опровергает Саня антиеврейские диатрибы храброго, но темного Чернеги (аргументы хорошие, убедительные и видно, что Саня читал и хорошо запомнил брошюру Лескова «Евреи в России» и страстно филосемитские статьи Владимира Соловьева), что делает Санины аргументы неотразимыми — это санино место в иерархии героев романа: он в романе ближайший к а в т о р у, к авторскому голосу персонаж, читатель знает, что прототипом Сани является отец Солженицына, что автор наделил героя в большой степени опытом собственной молодости. Поэтому, когда Чернега, раскипятившись, кричит: «Это народ такой особенный, сцепленный, пролазчивый. Это не зря, что они Христа распяли», — солженицынский ответ звучит мощно именно из уст Сани: «...А думаешь — мы бы не распяли? Если б Он не из Назарета, а из Суздаля пришел, к нам первым, — мы б, русские, Его не распяли?» Среди видных действующих лиц «Октября» встречается и еврейка-общественница Сусанна Корзнер. В этом романе-форуме ей предоставляется слово в главе, озаглавленной «Горда своим народом!» Она произносит страстный монолог об обидах и страданиях еврейского народа в России и в заключение говорит: «Я не только не угнетена, но я — горда и счастлива, что я — еврейка! Что я из породы этих талантливых, справед-

ливых, сильных духом и — храбрых людей. Да, храбрых!» Отметим, что сплошь и рядом в «Красном колесе», предоставляя слово историческим или вымышленным персонажам — от безымянного солдата до Государя Всея Руси, Солженицын искусно полемизирует с высказываемой точкой зрения саркастическими авторскими ремарками, иронической выборкой цитат. В том, как он представляет читателю пространный монолог Сусанны нет и тени иронии. (Да и почему ей там быть: и в своей публицистике Солженицын высказывался в поддержку идеологии сионизма.)

Тем не менее, центральное положение «демонических» евреев в «Августе» и «Октябре» перевешивает в глазах иных читателей сочувственное изображение Солженицыным других еврейских персонажей и их забот. Обвинения Солженицына в антисемитизме снова поползли с разных сторон.

Как известно, первый раунд дискуссий по поводу солженицынского отношения к евреям и их роли в новой русской истории имел место в начале семидесятых гг. (По иронии судьбы как раз в то время, когда КГБ начал клеветническую кампанию против писателя, обвиняя его среди прочего в том, что он служит агентом сионизма, а порой и объявляя его самого евреем.) Поводом к полемике тогда послужило издание на Западе второго тома «Архипелага». То, что последовало, описывает в своей книге Майк Скемвелл: «Солженицын иллюстрировал книгу снимками шести исключительных мерзавцев, ответственных за худшие эксцессы ГУЛАГа. В книге иллюстраций было очень мало, поэтому эти шесть резко выделались среди необъятного текста. Но, что немедленно привлекало внимание русских читателей, чей глаз натренирован на подобные тонкости, это то, что все шестеро оказались евреями. Позднее Солженицын объяснил, что это были единственные сохранившиеся фотографии ГУЛАГовских палачей, и что все они, действительно, существовали. И это было абсолютной правдой. Однако скептики продолжали на-

стаивать на том, что в ГУЛАГе было куда больше русских администраторов, чем евреев, и что они ничуть не уступали своим еврейским коллегам в жестокости и садизме, что вряд ли случайностью можно объяснить то, что Солженицын так выделил именно евреев и в иллюстрациях и в тексте». На эти горячие, но не слишком документированные обвинения израильский историк, специалист по Советскому Союзу, Эдит Роговин Френкель отвечает так: на самом деле в «ГУЛАГе» среди палачей большинство нееврейских имен. И добавляет: «Принимая во внимание непропорционально высокий процент евреев, служивших в НКВД и в лагерях в 30-е гг., солженицынская оценка роли евреев в репрессивных органах представляется весьма милосердной».

Суммируя, можно сказать так. Аргументы защитников Солженицына базируются на двух тезисах: а) Солженицын не изобретал своих «плохих» евреев, все они достоверные исторические личности, б) («арифметический подход») у Солженицына больше хороших евреев, чем плохих. На это отвечают (я прямо процитирую высказывание Лоренса Джей Смита, конгрессмена от Флориды, уж очень он попросту высказал, то, что другие высказывают многословно и обиняками): «Это все может быть исторически и верно, да только зачем упоминать, что все эти плохие люди были евреями?»

Что очевидно отсутствует в аргументации обеих сторон, это специфика искусства, ясное понимание того, что речь идет не о рациональном рассуждении историка-аналитика, а о «художественном исследовании» истории. (Как я уже пытался показать в вышеприведенных примерах) композиция (где, в каком соседстве текста сказано), интонация (присутствие или отсутствие иронии) так же являются частью высказывания историка-художника, как и самый текст.

Солженицын не первый автор, которому приписываются идеи, чувства и настроения его героев. И по сей день преподавателю литературы надо положить немало труда,

чтобы научить студента отличать взгляды Достоевского от взглядов Ивана Карамазова или Родиона Раскольникова, или Подпольного Человека. Но что уж там студенты, когда и интеллигентные читатели, даже профессиональные писатели и критики в их числе, забывают простейшие правила чтения художественного текста, когда дело доходит до текста, затрагивающего наиболее современные проблемы. Между тем, читать художественный текст как нехудожественное исследование истории как (*bona fide*) исторический трактат все равно что наблюдать за оркестром через толстое стекло: видишь компанию людей, надувающих щеки, выпячивающих губы, а один еще палочкой размахивает.

Даже без специальных чтений Бахтина, эмпирически, каждый интеллигентный читатель знает, что помимо композиции в произведении имеется еще и «глубинная композиционная структура». Помимо полифонии голосов (к т о что говорит и как относится к сказанному а в т о р) глубинная композиция включает еще в себя и точку зрения: ч ь и м и глазами увидена, ч ь и м (среди персонажей) сознанием воспринята, оценена та или иная сцена. В свое время я попытался проанализировать глубинную композицию богровского эпизода в «Августе», что принесло мне неожиданно громкую славу.

Взглянем теперь на ярчайшие может быть, страницы у позднего Солженицына, сцену встречи Парвуса и Ленина в Цюрихе. О ней много писали. Даже недруги Солженицына признают, что художественно она одна из самых выразительных. Очень интересный анализ ее с точки зрения фрейдизма сделал недавно Даниэль Ранкур-Лаферрье, «По сути дела, — пишет он, — вся русская революция по Солженицыну, является детищем извращенного союза между сатаническим Парвусом и Лениным. Парвус, отталкивающий, жирный, причмокивающий еврей подталкивает Ленина к тому, чтобы тот принял деньги на раздувание русской революции от немецкого генштаба». Ранкур-Лаферрье подчеркивает, что и портрет, и все сведения о Парвусе у

Солженицына исторически точны. О Парвусе, который когда-то мог посоперничать с Лениным, Либкнехтом и Троцким в социал-демократическом движении, на много лет забыли. Но в 1965 в издательстве Кемибриджского университета вышла отлично документированная монография, посвященная ему, Земана и Шарлау. И историческая роль Парвуса, и его психологический (да и физический) облик, как они восстанавливаются Земаном и Шарлау, полностью совпадают с солженицынским портретом. Но, повторяю, важно с нашей точки зрения, с точки зрения читателей романа, другое. У Солженицына Парвус действительно сюрреальный, демонический персонаж («демонизация еврея» — охота же самоотождествляться с Парвусом!), но таковым его представляет не прямо автор, таковым он предстает в больном воображении и персонажа, Ленина.

Напомним, что вся эта часть дана в сопровождении под сурдинку нарастающего приступа умопомрачения у Ленина: ему нездоровится с утра, к вечеру меланхолия, усталость, беспокойство усиливаются, так что, когда больной, обессиленный Ленин добирается наконец до своей комнаты, то уж и не мудрено, что он там видит как из чемодана вылезает гиппопотамоподобный Парвус (и у Булгакова, между прочим, имя одного из бесов — Бегемот, хотя куда более симпатичного беса). Это не автор, не Солженицын видит демоническое в исторической фигуре, еврее Парвусе, это персонаж, Ленин, видит так.

Вспомним, что говорилось раньше о параллелизме центральных эпизодов в «Августе» и в «Октябре». Выясняется, что в середине рокового узла каждый раз находится одно и то же. Что же это? Еврейство? Нет. Другое — метафизическое безумие. Как объективный историк Солженицын, в отличие от политика из Флориды, не имеет права умолчать о еврействе своих злодеев (роль евреев — большая по сравнению с другими национальностями — в социалистическом революционном движении — факт). Но как художник и философ он не может удовлет-

вориться м и ф о м, каковым является антисемитизм, т.е. миф о еврейском всемирно-историческом заговоре. Ответ на свой проклятый вопрос о причине исторического зла он находит на уровне глубже (выше?) национального, расового — общечеловеческом, антропологическом: в карамазовском бунте разума, в том, что Бердяев назвал соблазном социализма. (Совсем другой писатель, пишущий в совсем иной поэтике, Юз Алешковский, посвятил тому же «разуму возмущенному» потрясающую вставную новеллу в романе «Рука»; кстати параллельна «еврейским» эпизодам у Солженицына повесть Алешковского «Смерть в Москве», о сталинском сатрапе Мехлисе, да и во многом «Псалом» Горенштейна.) В «Августе» для Солженицына важно, что Богров еврей, но еще важнее, что он метафизический безумец. В «Октябре» же уже не так важно, что Парвус еврей, сколько то, что Ленин — такой же безумец как Богров.

Лично у меня Солженицын вызывает большое уважение тем, что он отказывается вступать в полемику по «еврейскому вопросу». И не потому, что для него этот вопрос «23-й», как однажды сказал Л.Н. Толстой, для Солженицына он, судя по всему, в первой десятке, но потому, что есть обвинения, на которые порядочные люди считают ниже своего достоинства отвечать — противно. Только раз, в письме журналисту «Нью-Йорк Таймс» он высказался кратко: «настоящий писатель не может быть антисемитом».

В свете наших рассуждений это совсем не эзотерическое высказывание. Настоящий писатель в понимании Солженицына — это тот, кто не уклоняется ни от болезненных вопросов, ни от укоренившейся мифологии — будь это миф о «Сионских мудрецах» или миф о «несчастном еврейском народе, сплошь состоящем из мудрецов и мучеников», но в своем художественном развитии прорывается к высшей реальности.

После того, как отрывки из моей статьи об «Августе» были переданы в эфир радиостанцией «Свобода» в

1984 г., небольшая группа интриганов, служащих на этой радиостанции стала рассылать во все возможные адреса доносы, полные невероятных передержек. Американская и европейская пресса, да и «Литературная газета» откликнулись на «событие». Что касается не-русской печати, что-то было в высшей степени странное в том, как обсуждалась эта история на ее страницах. В целом, солидные американские газеты и журналы старались быть объективными, и мне ни разу не попала статья, в которой я обвинялся бы в тех нелепостях, в которых обвиняли меня ябедники со «Свободы». И все же, читая эти статьи, я иногда испытывал странное чувство — что происходит? Литературное произведение обсуждается словно происходит судебный процесс: прокуроры, адвокаты и эксперты, те немногие, к т о ч и т а л. Как будто не читавшие имеют право судить о романе, выносить приговор... Ну, это все результат американской юридической ментальности. Но вот что еще меня продолжает интересовать: почему многие вполне интеллигентные и, как мне точно известно, честные читатели Солженицына так шокированы его еврейскими персонажами? Я думаю, ответ на этот вопрос находится не в тексте Солженицына, а в том более обширном тексте, которым является вся русская литература 30-40-х гг.

Как было установлено критиками формальной школы, нет в литературе прямого прогрессивного развития. Сплошь и рядом «высокая» литература рождается из «низкой» массовой литературы, из литературной поденщины эпохи. Например, рассказов и повестей о мелких чиновниках, которые дерзнули возмечтать о чем-то выше уровня их возможностей. Таких произведений было множество в литературе 1820-30 гг. Авторы этих сочинений ставили себе целью либо позабавить, либо разжалобить читателя. Пришел Гоголь и амплифицировал довольно избитый сюжет, создал качественно новый жанр философского гротеска: «Шинель». Тема «маленького человека» вошла в русскую литературу, стала ее

знаменем. Достоевский, особенно в ранних произведениях, искренне старался написать нечто в жанре городского романа тайн, а ля Эжен Сю, Диккенс... Сходным образом, новаторство Солженицына по-настоящему может быть понятно только на фоне советской литературы тех лет, когда формировался его талант, его творческая личность. А эти годы были — заря социализма. Для кого, для кого, а для Солженицына творчество действительно всегда диалогично, полемично во своей природе. (Я уже показывал в одной статье, как Солженицын «выворачивает» ходячие сюжеты соцреализма», как он полемически старается показать Симоновым, Шолоховым, А. Толстым «а как оно было на самом деле»).

Можно с уверенностью выделить 4 категории («жанра») в советской литературе:

1. «Героические труженики». В центре произведений образцовые строители социализма, трудящиеся не корысти ради, а из любви к партии и народу. Гладков «Цемент» (1925), Катаев «Время, вперед!» (1932), Кочетов «Журбины» (1952) и проч., и проч.

2. «Советские супермены». Повествование героического характера с агиографическим оттенком о советском человеке, побеждающем страдания, в том числе смертельные болезни, ибо он движим преданностью делу социализма. Первый номер в этом списке, конечно, «Как закалялась сталь» (1934) Островского. Среди классики этого жанра «Повесть о настоящем человеке» Полевого (1946), «Судьба человека» Шолохова (1956) и проч.

3. Шпионско-приключенческий жанр. Порожденный шпиономанией, постоянными призывами к бдительности, этот жанр пользовался особой популярностью у публики, благодаря закрученной интриге, мелодраматическим ситуациям. В частности, конец сороковых годов ознаменовался появлением целой серии пьес в этом роде: «Великая сила Ромашова» (1947), «Суд чести» Штейна (1948), «Чужая тень» Симонова (1949).

4. Ну и, конечно, четвертый популярный среди чи-

тателей жанр — это революционная эпопея, многотомный исторический роман, вроде «Тихого Дона» (1928-40) или «Хождения по мукам» (1941).

Взглянув на творчество Солженицына в целом, мы увидим, что все его основные произведения прямо соотносятся с этими «жанрами» соцреализма» 30-40-ых гг. С жанром «Героические труженики» — «Один день Ивана Денисовича». С жанром «Советский супермен» — «Раковый корпус» (о преодолении страданий и смерти силой духа). «В круге первом» несомненно связан с советским шпионско-приключенческим жанром, да и сам автор указывает в предисловии на эту связь. Наконец серия «Красное колесо» словно бы откликается на произведения, в которых создается соцреалистический миф о революции и гражданской войне.

Еще в предисловии к «В круге первом» Солженицын просто объясняет свой творческий импульс к написанию романа: в то время распространились сюжеты о советских ученых, передающих на запад секретные сведения (например, дело Ключевой и Роксина), мне захотелось показать, как это могло быть на самом деле. Не так ли же в «Иване Денисовиче» он показывает как на самом деле трудится честный работник, любящий самый процесс труда. В «Раковом корпусе» — как на самом деле встречают советские люди смерть. В «Красном колесе» — как на самом деле происходила революция.

Однако, показывая, как это было на самом деле, выворачивая наизнанку старые меха, чтобы налить в них молодое вино, Солженицын неизбежно разрушает установленные нормы, формы, условности устоявшихся жанров.

Популярные жанры соцреализма, как и вообще любые литературные жанры, определяются набором устойчивых мотивов, сюжетных приемов, персонажей, языковыми особенностями. Бросая вызов той фальши, на которой основаны эти жанры, Солженицын неизбежно должен использовать каталог характерных для жанра прие-

мов и персонажей, но наполняя их новым, правдивым, содержанием.

Сегодня я могу остановиться лишь на одном персонаже из этой соцреалистической комедии дель арте — еврее.

Парадоксально, но факт: даже в период разгула официального антисемитизма в конце сталинского правления, персонаж «Еврей» еще удерживается в стандартном наборе действующих лиц. Я думаю, что это блестяще подтверждает как сильная инерция жанра, зародившегося в более благоприятные для евреев времена, в 20-е гг. В газетах, журналах шла разнузданная травля безродных космополитов, а в литературе все еще нет-нет да появлялись евреи как положительные герои.

Конечно, у еврея тех времен (в отличие от фадеевского Левинсона или катаевского Маргулиса) не было никаких шансов стать главным героем. Эта роль всегда предназначалась славянину с непокорной копной льняных волос. Но еврей, «с умными, но печальными глазами», «с грустной улыбкой» продолжал появляться в качестве второстепенного персонажа, иногда даже вторым по значению после главного героя.

Функция еврея в литературном произведении этой поры была двойной. Во-первых, он сплошь и рядом мелодраматически погибал, или по крайней мере, переносил тяжкие страдания, увечья, в то время как главный герой оставался цел и, в общем, невредим, а читатель получал необходимую ему порцию щекотания нервов. Во-вторых, он предоставлял автору возможность подбавить «теплинку», «юморок» и вообще «человечинку» в сухомытную его прозу. Так внешность и поведение еврея могли иметь слегка комические элементы, и — *sine qua non* (*sine qua non*) — еврея можно было показать уязвимым, болезненным, физически неполноценным (по контрасту с железобетонным главным героем). (Типологически сходную роль в современных голливудских фильмах частично играют негры).

В таблице из десяти избранных примеров я специаль-

но смешал произведения разных времен и авторов с разной репутацией — либералов и реакционеров, чтобы показать, с какой механической неизбежностью функционирует литературное клише.

Произведение	Основные детали литературного портрета	Фабульная функция
А.Гайдар «Военная тайна» 1935	Алька: худенький, с грустными глазами	Погибает
А.Арбузов «Город на заре» 1941	Веня Альтман: слабый, быстро устает, не умеет плавать, близорукий	Едва не гибнет; совершает ошибку, но осознает; ему трудно, но старается работать, как все
В.Некрасов В окопах Сталинграда 1946	Фарбер: сутулый, страшно близорукий	Некоммуникабелен, но храбрый, самоотверженный
В.Ажаев Далеко от Москвы 1948	Залкинд: только зубы плохие (комические черты переданы снабженцу Либерману)	Образцовый парторг, хотя переживает трагедию — гибель родни в оккупации
Ю.Герман Подполковник мед.службы 1949	Левиг: смертельно болен	Знает о своей смертельной болезни, но самоотверженно трудится
В.Гроссман За правое дело 1952	Левинтон: близорука, внешне несколько комична	Погибает

Д.Гранин Искатели 1954	Рейнгольд: держится так, как будто виноват; печальные и умные глаза	Его изобретение отвергают бюрократы, но он трудится дома
К.Симонов Живые и мертвые 1959	Вайнштейн: близорукий, комично толстый	Погибает
И.Шевцов Тля 1964	Канцель: худенький юноша с бледным усталым лицом	Несмотря на происки формалистов, верен соц.реализму; создает монумент Ник.Островскому, хотя и слишком уж трагичный (по совету друга прибавляет оптимизма)
Н.Баранская Проводы 1968	Зускин: старик с очень больным сердцем	Борется за справедливость, хотя сам на ладан дышит

### ХОТЬ И ЛЫСЫЙ ЕВРЕЙ, А ХОРОШИЙ (А.ГАЛИЧ)

Все эти литературные евреи по своей роли в произведении должны погибнуть в прямом или хотя бы фигуральном смысле и все они физически слабы, близорукие, узкогрудые, смертельно-больные, тощие, тучные, страдают от сердечных заболеваний или, на худой конец, от плохих зубов. Причем, т.к. несчастным евреям принято умиляться, то иной наивный автор умиленно отзывается даже о стоматологических проблемах своего героя. Так у Ажаева парторг Залкинд предста-ет в золотом сиянии. Он произносит потрясающую душу

героя речь и при этом отмечается: «Во рту у парторга поблескивали золотые зубы».

Типовой «хороший еврей» советской литературы был основан на снисходительном, унижительном отношении. Эти свойства литературного «еврея» так же мало отражали действительность, как и свойства прочих персонажей в наборе, ибо в реальной жизни евреи не делятся на коварных хищников и добродушных инвалидов, а представляют такое же разнообразие человеческих типов и характеров, как и представители любого другого народа. Что и показано Солженицыным.

К сожалению, читатели расстаются с комфортабельными клише куда медленнее и неохотнее, чем этого требует развитие литературы. Я думаю, «Август» не вызвал бы у многих такого шока, какой он вызвал, если бы в ключевой сцене Солженицын поместил бы рядом со Столыпиным какого-нибудь, ну там, секретаря, еврея, желательно с печальными, но умными глазами и грустной улыбкой. Конечно, худенького, близорукого. И пусть бы он заслонил премьер-министра от пули убийцы своей пострадавшей чахоточной грудью. Ах, как было бы славно!

Дора ШТУРМАН

НЕСКОЛЬКО СЛОВ

К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ СОЛЖЕНИЦЫНА

Многоуважаемые коллеги!

В нашем катастрофическом веке великое счастье уже одно то, что мы празднуем семидесятилетие Солженицына при его жизни. И даже — что мы вообще его празднуем. Как сам он сказал в своей Нобелевской речи и — не раз — в «Архипелаге», он мог погибнуть, не состоявшись ни для кого на Земле, кроме (да и то — вряд ли) братьев по камере, по лагерю, по безымянной могиле. Так погибли другие, неведомые миру, мыслители и художники, растоптанные нашим концлагерным веком прежде, чем прозвучали. Всем своим творчеством их чудом выстоявший брат по Архипелагу многократно и скорбно отдает им должное. Так пусть же Солженицын живет и работает еще долгие годы, пусть принесет ему радость, а не новое горе то, чему предстоит развернуться на его родине, пусть будут благополучны все, кто ему дороги.

Думаю, что со мной согласятся многие из внимательных читателей Солженицына: на фоне происходящего сегодня в

СССР и в мире, работая вовсе не над творчеством Солженицына, размышляя над самыми злободневными или, напротив, казалось бы, академическими проблемами, вдруг обнаруживаешь, что Солженицын уже сказал о них главное. Он или выделил в них самое сложное и менее всего поддающееся решению; или поставил основной вопрос, в который упираемся рано или поздно мы все; или предсказал нынешний ход событий во всей его угрожающей неопределенности.

Содержание всего им сказанного как свидетельства миропонимания и деяний современного человечества колоссально. И те, кто склонны усматривать в его творчестве явление по смыслу и значению своему локально русское, заблуждаются. Так же, впрочем, как те, кто, при стольких страстных, страдальческих и гневных его страницах, побуждающих Запад защитить свои высшие ценности и свою свободу, видят в Солженицыне человека, ненавидящего западный мир.

Огорчителен еще один предрассудок — склонность видеть в Солженицыне не знающего сомнений ментора и прорицателя. Это не так. В полном объеме всего им сказанного писатель предстает перед нами как мыслитель и художник, все полнее и все трагичнее осознающий великие загадки и антиномии Бытия. Даже в таком, казалось бы, исторически конкретном и важном для него вопросе, как общественное и государственное устройство посткоммунистической России, Солженицын (вопреки не терпящим серьезной критики обвинениям в склонности к теократии, империалистическому мессианизму или, напротив, изоляционизму и другим мономаниям) ни разу не высказал категорического предписывающего суждения. Так, при одной из множества тщетных своих попыток добиться от современников правильного понимания «Письма вождям» (1974 г., полемика с А.Д. Сахаровым), Солженицын писал о возражениях Сахарова: «Как и во многих местах, мне фальшиво приписано вместо сомнений о внезапном введении демократии в сегодняшнем СССР — полное отвращение к демократии вообще».

Сомнение свое (подчеркиваю: с о м н е н и е, а не категорическое суждение) он аргументировал тем, что боится (цитирую) «величайшей опасности м е ж н а ц и о н а л ь н ы х в о й н (эти два слова Солженицын выделяет курсивом), «которые затопят кровью рождение у нас демократии, если оно произойдет в отсутствии сильной власти». (Конец цитаты). Сегодня мы видим, насколько прав Солженицын в этих своих

опасениях. Добавим, что он говорит в этой связи не просто о «сильной власти», но о власти преобразующей. В той же статье сказано:

«...со скалы ледяного тоталитаризма я мог предложить только медленный плавный спуск через авторитарную систему (неподготовленному народу с той скалы сразу прыгнуть в демократию — значит расшлепаться насмерть в анархическое пятно).

...Как временную меру по выходу из нашей тюрьмы — я думаю, никто не может предложить ничего более быстрого и спасительного.

Что же касается принципиального выбора или отвержения для России авторитарности в будущем, — я не высказывался по этому поводу, я не имею конечного мнения».

Этому «Я не имею конечного мнения» Солженицын нигде не изменит (во всяком случае, до наших дней).

Тем не менее, везде, где писатель говорит о желательной картине России будущего, о ее конкретных чертах, он говорит о свободном обществе, построенном на основах классического либерализма, политических и экономических».

Солженицын, впервые выступивший с поднятым забралом против режима в годы, предшествующие его изгнанию, больше был уверен, что знает, как следует спастись от коммунистического тоталитаризма, чем Солженицын более близкого к нам периода. Было время, когда полный и всеобщий отказ ото лжи казался ему у необходимым и достаточным условием нравственной революции и падения деспотизма.

«Все-таки вспомнить пора, что первое, кому мы принадлежим, — это человечество. А человечество отделилось от животного мира — мыслью и речью. И они естественно должны быть свободными. А если их сковать — мы возвращаемся в животных.

Гласность, честная и полная гласность — вот первое условие здоровья всякого общества, и нашего тоже. И кто не хочет стране гласности — тот равнодушен к отечеству, тот думает лишь о своей корысти. Кто не хочет отечеству гласности — тот не хочет очистить его от болезней, а загнать их внутрь, чтоб они гнили там». (1969 г.).

В коротко, виртуозно отточенном обращении «На случай моего ареста» (август 1973 г.) Солженицын категорически отрицает право правительства определять судьбы литературы:

«Я заранее объявляю неправомочным любой уголовный суд над русской литературой, над единой книгой ее, над любым русским автором».

И уж никогда не объявлял себя Солженицын единственным носителем истины и поэтому единственно имеющим право на абсолютную свободу слова, а ведь даже этот абсурд ухитряются ему приписывать. Но шли годы, и все яснее становилось ему, что самая полная и честная свобода слова (замечу, что легальной ее в СССР — ноябрь 1988 г. — еще нет) для обретения его родиной устойчивого существования — условие необходимое, но не достаточное. В 1973 году он писал:

«Кажется, мучителен переход от свободной речи к вынужденному молчанию. Какая мука живому, привыкшему думать обществу с какого-то декретного дня утратить право выражать себя печатно и публично, а год от году замкнуть уста и в дружеском разговоре и даже под семейной кровлей.

...За десятилетия, что мы молчали, разбрелись наши мысли на семьдесят семь сторон, никогда не перекликнувшись, не опознавшись, не поправив друг друга. А штампы принудительного мышления, да не мышления, а диктованного рассуждения, ежеденно втолакиваемые через магнитные глотки радио, размноженные в тысячах газет-близнецов, еженедельно конспектируемые для кружков политучебы, — изуродовали всех нас, почти не оставили неповрежденных умов.

И теперь, когда умы даже сильные и смелые пытаются распрямиться, выбиться из кучи дряхлого хлама, они несут на себе все эти злые тавровые выжины, кособокость колодок, в которые были загнаны незрелыми, — а по нашей умственной разьединенности ни на ком не могут себя проверить».

А далее шло пророчество:

«Но и обратный переход, ожидающий скоро нашу страну, — возврат дыхания и сознания, переход от молчания к свободной речи, тоже окажется и труден и долог, и снова мучителен — тем крайним, пропастным непониманием, которое вдруг зинет между соотечественниками, даже ровесниками, даже земляками, даже членами одного тесного круга».

И все более заботит его с каждым днем именно п е р е х о д от рабства к удовлетворительному уровню свободы и права, от чреватой вырождением нищеты — к здоровому достатку, от устойчивости деспотизма — к устойчивости нормального человеческого существования. В Кавендише, в 1979 году, Солженицын говорил И.И. Сапизэту, интервьюеру от Би-Би-Си: «...спасение — не терпит отложения. Каждый лишний год их господства приносит непоправимый урон» (конец цитаты). Но все неотступней его заботит вопрос: как избежать при попытках спасения кровопролитной катастрофы, чреватой омоложенным гнетом?

В 1983 году Солженицын предпринял развернутую попытку ответить своим оппонентам определенного толка, которых он обозначил сугубо ироническим групповым именем «плюралисты».

«Свою просьбу к ним: — конкретизировать их представления о будущей российской демократии — он завершает (напомню) вопросом вопросов:

«А — переходный период? Любую из западных систем — как именно пережить? через какую процедуру? — так, чтобы страна не перевернулась, не утонула? А если начнутся (как с марта 1917, а теперь-то еще скорей начнутся) разбой и убийства — то надо ли будет разбойников останавливать? или — оберегать права бандитов? может, они невменяемы? и — кто это будет делать? с чьей санкции? и какими силами? А шире того — будут вспыхивать стихийные волнения, массовые столкновения? как и кто успокоит их и спасет людей от резни?

Излишне напоминать, что ни у кого и сегодня нет уверенно-

го и конструктивного ответа на этот вопрос, а встает он перед нами куда острее и непосредственнее, чем в 1983 году.

Еще в 1973 году Солженицын отчетливо сформулировал экономические идеи — новые, впрочем, только для выходящего из социалистических колодок сознания, а в мире — древние:

«Исходные понятия — частной собственности, частной экономической инициативы — природны человеку, и нужны для личной свободы его и нормального самочувствия, и благодетельны были бы для общества, если бы только... если бы только носители их на первом же пороге развития самоограничились, а не доводили бы размеров и напора своей собственности и корысти до социального зла, вызвавшего столько справедливого гнева, не пытались бы покупать власть, подчинять прессу. Именно в ответ на бесстыдство неограниченной наживы развился и весь социализм».

Даже в кратчайшем разговоре о Солженицыне нельзя не коснуться национальной проблематики его творчества. Она едва ли не самым парадоксальным образом преломляется в сознании многих его читателей — как оппонентов, так и апологетов. Может быть, одна из причин этого искажающего преломления — болезненность, запутанность, антиномичность данной проблематики. Ее эмоциональный напор толкает иногда (замечу, что редко) и Солженицына-публициста к суждениям спорным или противоречивым, а полифония «Красного колеса» приводит поверхностного читателя к отождествлению взглядов писателя со взглядами его персонажей, весьма и весьма различными (и произвольно этим читателем отобранными по законам отталкивания или сродства). Сам же Солженицын, крайне остро всю напряженность национальной проблематики осознавая, требует от себя сложнейшего:

«О, как по этому ломкому хребту пройти, и в обиду по напраслине своих не давши, и порока своего горше чужого не спуская?..» (1974 г.)

Какие бы ни возникали у Солженицына по национальным поводам всплески чувств, он ни разу не изменил следующим своим словам:

«Я желаю добра всем народам, и чем ближе к нам живут, чем в большей зависимости от нас — тем более горячо».

И это отнюдь не значит, что он сторонник и предуготовитель будущей — доброй ко всем своим народам — империи или что он усматривает подобную доброту в имперском прошлом России. Он много и горько говорит о русских винах по отношению к другим народам, не обходя при этом и вин взаимных, и вин обратных. Но к раскаянию и самоограничению зовет он прежде всего свой народ. Одни — ища в этом для себя

опору, другие — с гневом и осуждением обнаруживают в Солженицыне русского империалиста. Между тем, сторонник скорее федерализма, чем разрыва, по крайней мере, русских, украинцев и белоруссов, Солженицын отнюдь не поклонник имперских принципов.

«Вся мировая история, — говорит он, — показывает, что народы, создавшие империи, всегда несли духовный ущерб. Цели великой империи и нравственное здоровье народа несовместимы». (1973 г.)

Солженицын (не раз) так четко и однозначно заявил о своем признании полного права наций на самоопределение и независимость, на культурно-религиозную автономию и равноправие (по их выбору), что вполне понятно его горестное недоумение в ответе на критику Сахаровым «Письма вождям». Цитирую:

«Меня, когда я предлагаю никого не угнетать, всех освободить, сосредоточиться на внутреннем лечении народных ран, — назвать националистом? Какое ж слово тогда для завоевателя? Можно было искать роузгадку во всеобщей путанице терминов: империализм, нетерпимый шовинизм, надменный национализм и скромный патриотизм (любовь-служение своей нации и стране с откровенным раскаянием в ее грехах, под это определение подходит и сам Сахаров). Но кто хорошо знает нынешнюю обстановку в советской общественной среде, тот согласится, что дело — не в путанице терминов, а в исключительной накаленности чувств». (Конец цитаты.)

Чувства эти накалены и в эмиграции. В СССР же народы уже перешли в межнациональной сфере от чувств к делу. И, к несчастью, вполне в ключе предвидений Солженицына, но не в духе его советов, призывов и настояний.

Он и о внешней политике СССР сказал самое главное, по сей день Кремлем не услышанное:

«Наша внешняя политика... представляется как бы нарочито составленной вопреки истинным потребностям своего народа. За судьбы Восточной Европы мы взяли на себя ответственность, не сравнимую с нашим сегодняшним духовным уровнем и нашей способностью понимать европейские нужды и пути. Эту ответственность мы самоуверенно готовы распространить и на любую страну, как бы далеко она ни лежала, хотя б на обратной стороне земного шара, лишь бы она проявляла намерение национализировать средства производства и централизовать власть (эти признаки по марксистской теории — ведущие, все остальные — национальные, бытовые, тысячелетних культур — второстепенны)».

Те, кто знают марксизм-ленинизм хорошо, не сомневаются, что и здесь, определяя основы реального (без всяких кавычек) социализма, Солженицын прав.

Вопрос о том, как возникают противоречивые или ложные стереотипы учений, течений, событий, характеров, выдающихся личностей и т.п., должен стать предметом особой на-

уки. Приведу два примера (из великого множества), относящихся к Солженицыну.

Осенью 1988 года в советском журнале «Книжное обозрение» появилась благожелательная статья о Солженицыне, а после нее — подборка читательских писем, в большинстве своем — одобрительных. В одном из пятнадцати отрицательных откликов содержалась цитата из «Архипелага», в которой Солженицын относит к русскому народу, в числе других горьких определений, эпитет «самый презренный». Цитата была почерпнута из гнусной книги Н. Яковлева, который, разумеется, не приводит любовно-трагического контекста всей фразы, определяющей отношение к русским не Солженицына, а других народов. Простодушный автор письма, не читавший «Архипелага» и верящий Н. Яковлеву, делает вывод, что Солженицын ненавидит русский народ. В том же «Архипелаге» есть истории и фотографии (из советской прессы тех лет) нескольких евреев-организаторов и ведущих деятелей ГУЛага, приведено несколько фамилий омерзительных «придурков» и садистических начальников лагерей или следователей-евреев. Антисемиты пьянеют от восхищения; часть евреев и антишовинистов полны обиды и гнева, хотя отрицать факты не могут. И только вдумчиво прочитав великую книгу, видишь прекрасные, трогательные образы еврейских страдальцев, русских страдальцев и мучеников любых подсоветских, а многих и несветских национальностей, а рядом — русских и всеплеменных попустителей, слепцов и злодеев. Недостаток времени не позволяет мне вдаваться в эту проблему и касаться еще и, к примеру, «Красного колеса».

Можно много говорить о том, в чем Солженицыну видятся надежда, просвет и выход. Но, пожалуй, наиболее обобщенно это выражено в заключении столь по-разному понятой и столь противоречиво оцененной современниками Гарвардской речи (1978 г.):

«Если не к гибели, то мир подошел сейчас к повороту истории, по значению равному повороту от Средних Веков к Возрождению, — и потребует от нас духовной вспышки, подъема на новую высоту обзора, на новый уровень жизни, где не будет, как в Средние Века, предана проклятью наша физическая природа, но и тем более не будет, как в Новейшее время, растоптана наша духовная. (Апл.)

Этот подъем подобен восхождению на следующую антропологическую ступень. И ни у кого на Земле не осталось другого выхода, как — вверх».

Пожелаем Солженицыну и всем людям Земли, чтобы этот выход был обретен.

## СОДЕРЖАНИЕ

Международная конференция, посвященная А.И. Солженицыну . . . . .	5
Письмо А.И. Солженицыну от участников конференции . . . . .	6
Юрий Кублановский. Приветствие конференции . . . . .	7
Выступление Василия Аксенова . . . . .	8
Выступление профессора Валерия Сойфера . . . . .	14
Александр Глезер. Солженицын и эмиграция . . . . .	19
Дмитрий Бобьшев. Два лауреата . . . . .	26
Борис Тираспольский. Исполнение миссии . . . . .	34
Галина Бови-Кизилова. Россия и Солженицын неразделимы . . . . .	39
Профессор Джон Б. Данлоп. Как Александр Солженицын был почти реабилитирован и снова предан анафеме . . . . .	43
Юрий Кублановский. Стиль и историософия «Красного колеса» А.И. Солженицына . . . . .	58
Лев Лосев. Солженицынские евреи . . . . .	70
Дора Штурман. Несколько слов к семидесятилетию Солженицына . . . . .	89

## СОЛЖЕНИЦИНСКИЕ ТОРЖЕСТВА В МОСКВЕ

**П**о сообщению газеты «Нью-Йорк таймс» от 13 декабря 1988 года, в Москве 11 декабря состоялись торжественные собрания, посвященные семидесятилетию А.И. Солженицына. Эти собрания прошли в Доме кинематографистов и в Доме медицинских работников.

В Доме кино выступили с речами председатель Союза кинематографистов Андрей Смирнов, литературные критики Игорь Виноградов, Владимир Лапшин, Юрий Корякин и главный редактор газеты «Московские новости» Егор Яковлев. Последний сказал: «Мы должны принять его таким, каков он есть» (обр. перевод с англ.) И. Виноградов в своем выступлении, под аплодисменты присутствующих, упомянул «Архипелаг ГУЛАГ». А Ю. Корякин заявил: «Дайте Солженицыну быть антикоммунистом. Достоевский был антикоммунистом, но могли ли мы называть его нашим врагом?» (обр. перевод с англ.).

Отдавая дань мужеству выступавших (напомним, что незадолго до солженицинских торжеств в Москве новый идеолог партии Вадим Медведев объявил на встрече с редакторами газет и журналов, что произведения и само имя писателя не должны больше упоминаться в печати), «Нью-Йорк таймс» замечает, и редакция «Стрельца» к этому замечанию присоединяется, что московские торжества, посвященные А.И. Солженицыну, не могли состояться без разрешения свыше.